Живые люди

Автор:
Яна Вагнер

Живые люди

Яна Вагнер

Вонгозеро #2Кинобестселлеры

«Живые люди» – продолжение бестселлера «Вонгозеро», роман-робинзонада, герметический триллер. Одиннадцать человек – восемь взрослых и трое детей – спрятались от эпидемии на маленьком острове посреди карельской тайги. Значит ли это, что самое страшное позади? Они выжили, но отрезаны от мира и заперты вместе. Им придется зимовать, голодать и самое главное – учиться принимать друг друга, сосуществовать тесно, бок о бок. Выбор простой: измениться или погибнуть.

На платформе PREMIER выходит «Эпидемия» – экранизация первого романа дилогии «Вонгозеро».

Яна Вагнер

Живые люди

© Вагнер Я.М.

© ООО «Издательство АСТ»

* * *

Я всё пытаюсь представить себе, что она чувствовала, запертая вместе с сыном в собственной квартире, отгородившись от хаоса и смерти тонкой дверью с двумя финскими замками. Две недели. Две недели мучительных сомнений – выйти или остаться? Включить свет или сидеть в темноте? Наблюдать, как тает жалкая кучка консервов, полученных в последний раз, когда она решилась выйти из дома, на следующий день после того, как приходила Лиза (которая села на пол возле двери – снаружи, прямо на лестнице, и даже не просила впустить ее, а просто сидела, долго, несколько часов). Слушая из-за двери Лизино тяжелое прерывистое дыхание, она могла думать только об одном: чтобы Лиза поскорее ушла, потому что ранним утром придет продовольственный грузовик и дверь нужно будет открыть.

Взять мальчика с собой всякий раз казалось страшнее, чем оставить его дома одного, и в то утро она пошла с соседкой, потому что вместе было все-таки безопаснее, хотя какая там безопасность – две женщины. До этого с ними ходил Юра с десятого этажа, но сегодня Юра не открыл им, когда они звонили в дверь. На самом деле, он даже не подошел к двери. В объяснениях не было нужды; они слышали, как он, захлебываясь, кашляет где-то в недрах своей квартиры, и поспешно повернулись и побежали вниз по лестнице. Соседка сказала только: «Вот и Юрка…» – и блеснула темными глазами поверх плотной марлевой повязки, и больше они уже об этом не говорили; они вообще очень мало теперь разговаривали, и не только из-за повязок: просто всё было и так понятно, и не нуждалось в том, чтобы быть произнесенным.

Они бежали по стылой улице, временами увязая по щиколотку в рыхлом грязном снегу, – чистить улицы теперь было непозволительной роскошью, – и она думала: «Сорок минут, максимум – час, очередь с каждым днем становится всё меньше и меньше; ничего не случится, он не станет включать воду, не станет ковыряться в розетке, и даже если кто-нибудь – кто угодно – позвонит в дверь, он не откроет, потому что не может дотянуться до верхнего замка; он в безопасности». Они бежали, и уже видно было грузовую машину с грубо нарисованным красным крестом и жидкую разрозненную толпу людей вокруг, которую они привычно попытались оценить: да, минут сорок, если только какая-нибудь старуха (почему-то это всегда именно старухи и никогда старики) не задержит очередь, потому что забыла или потеряла талон, и тогда возникнет жалкий, визгливый, недолгий скандал, и домой удастся вернуться через час, не раньше. Бежать стало легче – по снегу, утоптанному и плотному, как асфальт, – с утра (а машина приезжала рано утром, еще затемно) здесь перебывали все, кто мог еще выйти на улицу, и их по-прежнему набиралось достаточно, в то

время как во дворах уже было не разойтись из-за неряшливых сугробов с узкими, на одного человека, протоптанными тропинками. Попадались даже целые подъезды – она отметила несколько на бегу, – вокруг которых снег лежал нетронутый и чистый, без единого следа. Уже возле самой машины, из кузова которой человек в черном армейском респираторе выбрасывал серые одинаковые коробки и монотонно, невнятно повторял одну и ту же фразу: «По одному. По одному, я сказал. На шаг отойдите. Отойдите, женщина», она нащупала в кармане твердый прямоугольник продовольственного талона. Начала пробираться поближе к хмурому контролеру, стараясь не столкнуться ни с кем из прочих собравшихся возле грузовика людей, не задеть рукавом или полой пальто, и вдруг подумала: «Он не сможет открыть дверь. Если что-нибудь случится прямо сейчас, на обратном пути, когда мы понесем эти чертовы коробки, которые никуда не спрятать, которые словно кричат: смотрите, у меня есть еда, а с нами теперь нет Юры (можно считать, что Юры вообще больше нет). Если что-нибудь случится со мной. Если я не вернусь – он не сможет открыть дверь. И никто не придет к нему». Эта мысль заставила ее бежать назад еще быстрее, несмотря на тяжелую, неудобную коробку, и соседка, с такой же коробкой наперевес, едва поспевала за ней.

Она ворвалась домой, сняла пальто и в который раз подавила острое, невыносимое желание выбросить его наружу, за дверь, чтобы ни одна молекула чужого, опасного наружнего воздуха не осталась здесь, внутри, в их единственном убежище, а потом, крикнув в комнату: «Я сейчас, не выходи!», долго и тщательно мыла руки и лицо, терла толстый, уже махрящийся по краям марлевый прямоугольник хозяйственным мылом и думала: «Боже мой, как хорошо, что есть вода, только бы они не отключили воду», – и лишь после этого подошла к мальчику, понюхала его макушку и сказала: «Видишь, я недолго. Проголодался?» Он сидел на полу, над стопкой журналов, и даже не поднял на неё глаза, просто помотал головой – нет, я занят, потом.

Больше она не выходила. В конце недели соседка стучалась к ней и кричала: «Ирочка! Ириша! Вы как там?» – но она даже не смогла себя заставить подойти к двери и объяснить, почему больше не может выйти наружу. Просто не может снова идти туда, а потом возвращаться, принося на себе невидимую липкую заразу, от которой нельзя избавиться и нельзя спастись. Поэтому все время, пока соседка стучала и звала ее, она безучастно сидела на диване, а потом посмотрела на удивленного мальчика, приложила палец к губам и постаралась улыбнуться ему: тише, это такая игра, как будто мы спрятались и нас нет. Молчание из-за двери в эти дни можно было истолковать одним-единственным способом, и соседка, вероятно, так всё и поняла, потому что слышно было, как

она говорит невнятно: «Боже мой, боже мой», и ее торопливые удаляющиеся шаги на лестнице.

Из коробки, которую она принесла домой в тот последний день, к концу первой недели не осталось почти ничего – початая пачка гречки, несколько банок консервированной говядины и банка сладкой кукурузы. К счастью, мальчик никогда не отличался особенным аппетитом, и она подсчитала, что ему хватит еще дня на четыре, если сама она перестанет есть совсем. В кухонном шкафу обнаружились пересохшие и безвкусные, как бумага, диетические сухарики, и еще мука, почти полный пакет. Она очень рассчитывала на эту муку, из нее получались бледные, выцветшие тонкие лепешки. «Четыре дня, – сказала она себе. – У меня есть еще четыре дня, и только потом, если ничего не изменится, только потом я подумаю, что делать дальше».

Сережа звонил каждый день, утром и вечером, и все время спрашивал: «Как вы? Вы осторожны? Что вы едите?» – и она боялась признаться ему, что пропустила уже одну выдачу продуктов и намерена пропустить следующую. Потому что он наверняка убедил бы ее в том, что это ошибка, а она знала, точно знала, что права, и выходить нельзя, и нельзя открывать дверь. Потому что в понедельник она все утро караулила возле дверного глазка, машинально задерживая дыхание, словно самый воздух, проникающий сквозь кожаную обивку, мог представлять угрозу, и не увидела никого, ни одного человека, хотя это был день, когда приезжала продуктовая машина. Лестница оставалась пустой, она не заметила даже соседки. Сереже было бессмысленно рассказывать об этом. Он все равно ничего не понял бы, не смог бы представить это оттуда, снаружи, из-за карантина. Она старалась отвечать односложно и, наконец, попросила звонить только раз в день, вечером, и говорить недолго, несколько секунд, потому что не знала, как долго еще проработает телефон; ей почему-то казалось, что с каждым звонком уменьшается и тает какой-то неведомый ресурс, подпитывающий существование гудка в трубке. Он говорил: «Я ездил сегодня, меня опять не пустили, Ирка, но ты не волнуйся, надо просто потерпеть, я что-нибудь придумаю, вы, главное, будьте осторожны». И она думала: «О, мы осторожны, мы чертовски осторожны, только у нас осталась последняя банка говядины и немного муки, а на площадке перед подъездом, которую немного видно из окна кухни, уже несколько дней нет никаких следов», – но не говорила ему, потому что и эти звонки, напоминавшие ей, что прошел еще один день, и Сережин встревоженный голос в трубке были сейчас бессмысленны и только раздражали.

В ночь со среды на четверг телефон умер. Она не узнала бы об этом, если бы не сообразила вдруг, что Сережа за весь день ни разу не позвонил. Сняв трубку около полуночи, она услышала только плотную, без потрескиваний, тишину, и в эту ночь так и не смогла заснуть. Хотя даже без этой несвоевременной телефонной смерти не заснула бы все равно, потому что именно сегодня у них, наконец, закончилась еда. Уже после того, как Антошка доел свою порцию, она неожиданно обнаружила, что бездумно и жадно слизывает остатки мясного желе с зазубренных стенок металлической банки, и почувствовала во рту вкус собственной крови, и тогда ей стало ясно, что отсрочка, которую она себе выторговала, только что кончилась. Всю ночь она просидела возле включенного телевизора; она теперь вообще не выключала телевизор, хотя уже неделю он показывал только три идущие в записи передачи по кругу, в одном и том же порядке, который она выучила наизусть: эффективные меры предосторожности в период эпидемии, обращение главного санитарного врача, списки пунктов экстренной помощи. Вот сейчас, после слов «сохраняйте спокойствие, оставайтесь на своих местах» гладко причесанная диктор запнется и еще раз посмотрит на лежащую перед ней страницу – так и есть, это та же самая запись. Их, возможно, уже нет – ни этого врача, ни этого диктора, но кто-то же должен следить за эфиром, это ведь не может происходить автоматически, само по себе, кто-то должен оставаться в огромной, похожей на толстый каменный карандаш телебашне, тускло мерцающей электрическими огнями на фоне темного неба. Может быть, рано или поздно кто-нибудь всё же прервет этот бесконечный закольцованный ряд и сообщит что-то другое, что угодно, лишь бы это помогло ей разобраться, что происходит там, за дверью, в огромном городе, и подсказало бы, что ей нужно делать.

Под утро она села на широкий пластиковый подоконник и, прижавшись щекой к холодному стеклу, стала смотреть в окно. Виден был совсем небольшой отрезок, остальное загораживал соседний дом, высокие деревья рядом с ним и яркий билборд с неуместной теперь рекламой коркуновского шоколада, но она была уверена, что не пропустит продовольственный грузовик, который скоро должен проехать здесь, потому что кроме этого грузовика по улице давно уже никто не ездил. Она ждала несколько часов, до самого рассвета, а когда проснулся мальчик и позвал ее, поняла, что грузовик не приедет; что, возможно, он не приезжал и в понедельник, просто ей не пришло в голову это проверить, и невольно почувствовала что-то похожее на облегчение от мысли, что выходить не придется, теперь незачем.

Именно тогда она нашла варенье. Банка была небольшая, полуторалитровая, с рыжими разводами ржавчины на туго прикрученной крышке, которую она

долго не могла отвинтить и уже начала прикидывать, как бы поаккуратнее разбить банку, чтобы осталось как можно меньше осколков. Но крышка неожиданно поддалась, брызнув в стороны колючей сахарной пылью. Варенье было старое, почти черное и чудовищно приторное. Она попыталась выложить его на тарелку как-нибудь покрасивее, чтобы порадовать мальчика, и в конце концов у нее получилась комковатая веселая рожица – два глаза, улыбающийся рот. Столько сахара, думала она, нам хватит еще на несколько дней, если разделить его – по четыре чайных ложки утром, днем и вечером, хорошо, что есть вода, только бы они не отключили воду.

Всякий раз, пытаясь представить, что? она чувствовала, спрятавшись с мальчиком за тонкой дверью с хлипкими замками, я возвращаюсь именно к этому дню, к этому утру, когда она считала, сколько ложек варенья может позволить себе съесть. О чем она думала, выскребая из банки твердую, неподатливую черную массу? Пришло ли ей в голову, что, если бы не ребенок, она вышла бы и, возможно, застала бы грузовик? Что даже теперь, когда грузовик можно уже не ждать, она все равно, наверное, вышла бы, но мальчику только пять, он не может долго ходить и быстро устает, и в теплом зимнем комбинезоне он ужасно неповоротливый. Они не сумели бы убежать, если бы кто-то на улице, кто-то больной, опасный, попытался остановить их, ни за что не сумели бы. Боялась ли она того, что, возможно, все-таки пропустила момент, когда всех остальных забрали, спасли, увезли куда-то в безопасное место, или проспала какое-нибудь короткое сообщение по телевизору, что-нибудь об эвакуации или вакцине? Не казалось ли ей, что они двое, она и мальчик, – последние, кто остался здесь? Последние, кто остался вообще. Потому что теперь, когда телефон молчал, а в окне виднелся только безлюдный кусок улицы, присыпанный рыхлым неутоптанным снегом, было так легко представить себе, что и Сережи, который обещал приехать и забрать их, тоже больше нет.

Она очень мало говорила об этих двух последних днях, начавшихся с банки старого варенья и закончившихся тем, что посреди ночи Сережа вдруг позвонил в дверь, потому что патрули, охранявшие город, разбежались, и он смог наконец прорваться. Я знаю только, что она открыла ему не сразу и сначала долго смотрела в глазок, пытаясь определить, не болен ли он (ведь Лиза точно была больна и именно по этой причине не просила открыть ей, а просто сидела под дверью и дышала, пока наконец не поднялась, держась за стену, и не начала медленно спускаться вниз, останавливаясь на каждом пролете лестницы).
И хотя Сережа был здоров, ведь за пределами карантина ничего еще не успело произойти, там всё только начиналось, – всё, что так быстро, в считаные недели погубило громадный тринадцатимиллионный город, – прежде чем открыть

дверь, она надела маску себе и Антону, и Сереже удалось уговорить ее снять эти маски лишь спустя два часа, когда после стремительных лихорадочных сборов – «Некогда, Ирка, брось, у нас всё есть, найдем мы тебе и одежду, и обувь, сейчас перегородят всё заново, и мы тогда точно не выберемся» – они уже ехали по пустынной неосвещенной трассе, оставив далеко позади и мертвый город, и взбаламученные, истерически бурлящие коттеджные поселки, перепуганные тем, что кордонов больше нет и теперь их некому защитить.

Больше я не знаю ничего. Она вообще рассказала очень немного, несмотря на то что, как только на улице темнеет и единственным источником света в доме становится тускло-оранжевая прямоугольная щель вокруг закопченной печной дверцы, нам не остается ничего, кроме разговоров. У нас еще осталось немного керосина, но мы бережем его для особых случаев, и поэтому все вечера, все без исключения, проходят одинаково: света слишком мало даже для того, чтобы чистить рыбу или чинить вещи, так что мы просто сидим в рыжем полумраке – восемь взрослых, трое детей – и разговариваем. Конечно, мы могли бы рассказывать о чем угодно, у каждого из нас за плечами целая жизнь, полная самых разных событий, только мы всегда говорим об одном и том же: о тех последних неделях перед самым концом. О том, какими мы были беспечными идиотами. О том, как мы ничего не поняли. О том, как мы опоздали и никого не успели спасти, и едва спаслись сами. Если, конечно, это вообще можно назвать спасением.

За последние месяцы мы обсудили всё это столько раз, что я выучила все истории наизусть и в мельчайших подробностях могу представить себе каждый день любого из остальных. Каждый день из нескольких недель, когда стало ясно, что ничего уже не исправить. Но единственное, о чем я никак не могу перестать думать, – это те последние два дня, в течение которых она отсчитывала ложки с вареньем: одна, две, три, четыре… Я представляю теперешнего Мишку, – большого, с незнакомым взрослым выражением лица, – пятилетним и пытаюсь понять, смогла бы я запереться и не выходить совсем, ни при каких обстоятельствах. Не открыть дверь сестре, не выйти к продовольственному грузовику. Просто повернуться спиной ко всему этому кошмару снаружи, и сделать вид, что там, за дверью, ничего нет, и существует только эта маленькая квартира и банка засахарившейся смородины. И ведь она не ошиблась. Ей действительно не нужно, ей нельзя было выходить, потому что, возможно, только по этой причине и она, и мальчик сейчас здесь, с нами.

Бывшая жена моего мужа и его единственный сын.

И я не могу перестать думать еще об одном. Знаю, что это плохо, это правда очень плохо, и я ни за что никому не призналась бы, что думаю об этом, но все равно не могу перестать. Что было бы, если бы она все-таки сделала это? Если бы вышла наружу до того, как приехал Сережа.

* * *

Я часто пытаюсь представить себе город – не тот, каким я его знала до катастрофы, а сегодняшний – опустевший и мертвый. Меня не было там, когда все началось, а чужие рассказы и обрывки телевизионных репортажей почему-то так и не захотели соединиться в моем воображении с тем, что я помнила о нем сама. Даже если бы я попробовала наложить всё, что мы увидели позже, в попавшихся нам на пути городах, на знакомые с детства улицы, – безмолвные и равнодушные вереницы бредущих вдоль дороги людей с санками в Устюжне, пустоту покинутого жителями Кириллова, – у меня все равно ничего не получилось бы: слишком не похожи на наш громадный мегаполис оказались эти крошечные северные города, каждый из которых можно было проехать насквозь самое большее за четверть часа.

То, что я не могу увидеть, как он выглядит теперь, оставленный нами город, совсем не страшно. Мне ведь некуда торопиться, и думать о нем – прекрасный способ хоть чем-то занять свои мысли. Я представляю себе его фрагментами, дольками: Битцевский парк с елками и скамейками, где мы с Мишкой гуляли, когда он был маленьким. Мясницкая улица с кафе и магазинчиками, по которым мы бегали с Ленкой в обеденный перерыв. Каток в саду «Эрмитаж». Маленький и мутный, зажатый коваными решетками пруд на Патриарших. Пыльный плоский зоопарк с чугунными церетелиевскими монстрами. Что-то возвращается мгновенно, что-то приходит с усилием, но, как только картинка наконец появляется, можно продолжать: мысленно засы?пать снегом. Убрать прохожих. Выключить свет.

Я представляю себе заметенные необитаемые улицы с высокими сугробами брошенных автомобилей. Погасшие светофоры, раскачивающиеся на ветру. Облупившиеся, потускневшие рекламные щиты. Пустые и гулкие мраморные вестибюли метро. Кинотеатры с темными экранами и поднятыми мягкими сиденьями, многоэтажные торговые центры с пыльными витринами и остановившимися эскалаторами. Если бы каким-то чудом громадный город просто обезлюдел, лишился бы только своих жителей, сохранив при этом все

прочие атрибуты цивилизации – свет, тепло, воду в гумовском фонтане, – какая это была бы странная, величественная картина. Город, существующий ради города. Ради себя самого зажигающий вечером фонари вдоль пустых проспектов, сам себе подмигивающий неоновым светом вывесок и переводящий стрелки огромных часов на башнях и вокзалах. Пожалуй, таким я и хотела бы его запомнить, только это невозможно. Я знаю, что всё там выглядит совершенно иначе.

Электричества давно уже нет, как не было его почти нигде во время нашего путешествия, а вместе со светом, разумеется, исчезло и тепло, и мороз проник внутрь тихих темных домов. Снег никто не чистит; он лежит на улицах, подбираясь к окнам первых этажей, скапливается на плоских крышах, и время от времени то одна, то другая не выдерживает и проваливается под его тяжестью. Эта зима не нанесет городу слишком большого ущерба. Она скоро закончится, и снег растает, но вслед за нею будут еще зимы и еще снегопады, и забьются стоки, и лопнут трубы, и весь он постепенно начнет крошиться и рассыпаться – очень медленно, не сразу, но наверняка, потому что те, кто ухаживал за ним, чистил его и ремонтировал, исчезли и уже не вернутся. Наверное, остались птицы – утки на незамерзающих прудах, вороны над пустырями; возможно, остались бродячие собаки, хотя теперь им, должно быть, нечего стало есть.

Люди тоже остались. Те, кто умер в своих домах, и те, кто умер на улице или в пунктах экстренной помощи. Они все остались там. Я представляю себе, как они лежат, скрытые милосердным морозом и темнотой, словно спящие пчёлы в сотах, каждый в своей ячейке, безымянные теперь, одинаковые, ничьи.

Но бывают дни, когда я уверена, что это невозможно. Вопреки всему, что говорили в новостях, и всему, что мы видели своими глазами, невозможно, чтобы тринадцать миллионов человек просто умерли все разом, одновременно, не сопротивляясь. Мы ведь застали только начало, и ни один из нас не видел конца; мы не можем знать точно. Доктор много рассуждал об иммунитете. У кого-то обязательно должна быть врожденная устойчивость к вирусу, говорил он, и улыбался своей детской улыбкой. Иначе не бывает, это статистика. Какой-то процент населения всегда невосприимчив к любым эпидемиям. Даже чума убивает не всех, а это ведь не чума. Наташа тогда едва не стукнула его. Не чума, кричала она, вот как! Что же вы ее не остановили? Что же вы не придумали, как им всем помочь, если это не чума? Да мы просто вымерли, как какие-нибудь мамонты, к черту вашу устойчивость, не было никакой

устойчивости! Там никого нет, там вообще больше никого не осталось, и мы выжили потому, что сбежали, потому, что сидим здесь теперь, боясь высунуть нос, а она ждет нас там, снаружи, эта ваша «не чума». Потом она плакала, а он виновато сидел рядом и кивал головой, словно всё, что случилось, действительно было на его совести. Бедный, бедный доктор. Надо было ему поселиться здесь, с нами, и тогда он остался бы жив.

Иногда я думаю, что доктор был прав, и мы все-таки уехали зря. Что, вполне возможно, все самое страшное уже позади, эпидемия выгорела, и они вернулись – те, кто не заразился, (если такие действительно были) вместе с теми, кто спрятался не так далеко. А мы так и будем жить здесь, в самом центре пограничной зоны отчуждения, которую нет смысла даже охранять, потому что ни один человек не сможет пройти восемьдесят километров по тайге пешком. Мы останемся здесь, потому что наши машины, замерзающие сейчас с пустыми баками на том берегу, совершенно уже бесполезны, и мы проведем здесь год, два, десять лет – и никогда не узнаем о том, что всё закончилось.

А иногда мне кажется, что все действительно умерли. Вообще все. И мы остались совершенно одни. Последние одиннадцать человек посреди зимы. Восемь взрослых, трое детей. И я правда не знаю, что из этого пугает меня больше.

* * *

И вот еще. Почему-то мне важно знать, какое сегодня число. Нельзя сказать, что я отчетливо понимаю, зачем мне это, но первое, о чем я думаю, проснувшись, – какое число было вчера, и прибавляю один день. Даже когда мне не хочется разговаривать с ними, а мне редко сейчас хочется разговаривать, я все равно произношу вслух, чтобы и они знали. Сегодня двадцатое января, говорю я. Или: надо же, уже второе февраля. Я делаю это каждый день и, по-моему, очень их раздражаю. Они пожимают плечами, смотрят в сторону или делают вид, что не слышали. Разве что Лёня какое-то время, в самом начале, принимался морщить лоб и заявлял в конце концов что-нибудь вроде: «День работника транспортной милиции?» или «День молодежи Азербайджана?», и пока он сочинял эти дурацкие и далеко не всегда приличные варианты, мои слова хотя бы не повисали в воздухе. После Нового года он не делал этого ни разу. Мне кажется, после Нового года мы вообще перестали шутить, но это не имеет значения. Утром я открываю глаза и говорю громко: третье февраля. И если в моих часах

закончится батарейка, я буду делать зарубки на стене и считать их; я не собьюсь и не дам им сбиться, потому что иначе все эти короткие одинаковые дни сольются, наслоятся один на другой и превратятся в один бесконечный сумеречный поток, в однородную безрадостную ленту.

Еще несколько недель, и в Москве снег уже, наверное, начнет понемногу таять, сугробы съежатся и отступят к газонам, обнажая участки сухого чистого асфальта. Здесь проклятая зима даже и не думает заканчиваться, словно она только взяла разгон, словно здесь всегда будет только она; заколдованное место, в котором остановилось время. И темно, все время темно. Немного светлее становится к полудню, а к трем часам снова сгущаются сумерки, и эти несколько часов все мы, несмотря на холод, вылезаем наружу, бледные, сизые и ослепшие, как кроты, чтобы впитать хотя бы немного света. И если не считать эти три коротких часа, все остальное время здесь продолжается ночь, холодная и пустая. В городе никогда не бывает такой абсолютной, беспросветной и безмолвной темноты. Городские ночи отдают желтизной уличных фонарей и наполнены звуками проезжающих машин, тихим жужжанием электроприборов, пульсом миллионов организмов, дышащих вокруг; а в этом месте, где мы добровольно заточили себя, стоит ночью отойти от дома на два шага – и всё мгновенно растворяется в плотном чернильном мраке, и ты торопишься вернуться, почти бежишь, всякий раз с вытянутыми вперед руками, боясь, что за эти несколько минут и маленький дом, в существовании которого только что не было никаких сомнений, и все, кто находился внутри, уже исчезли, пропали без следа, и сколько бы ты ни сделала теперь шагов, под твоими ладонями всегда будет только непрозрачная пустота.

Сережа говорит, что это нормально, – то, что здесь все время темно. Он говорит – так и должно быть, потому что близко полярный круг. Да только до него ведь целых четыреста километров, до этого проклятого круга, я смотрела по карте. Это единственная книга, которая у меня есть, «Атлас автомобильных дорог», и у меня масса времени; я могу сидеть над ней часами и считать. Есть множество способов сделать это: можно отмерять километры пальцем, расческой, пытаться определить на глаз; я проделала все это столько раз, что расстояние отсюда до полярного круга известно мне безошибочно. Четыреста километров. Правда, я не могу оценить, далеко это или близко, и никто из нас не знает, когда в этих краях начинается весна. Мы не догадались задать этот вопрос в то время, пока у нас еще была такая возможность, а сейчас уже поздно – спрашивать некого. Очень может быть, именно поэтому мне так важно знать, какое сегодня число. Я хочу помнить о том, что рано или поздно, пусть не в апреле, но в мае, в мае уж точно эта чертова зима закончится. Четвертое

февраля, упрямо говорю я, открыв глаза, прямо в раздраженное молчание. Еще четыре месяца, и будет лето.

Только вот еды у нас осталось на месяц, не больше.

Она закончилась как-то вдруг, неожиданно. Потому, что ее действительно было слишком мало для одиннадцати человек, а может потому, что никому из нас не пришло в голову всерьез начать следить за тем, чтобы растянуть припасы. То, что еды недостаточно, знали все, и никто, казалось, не позволял себе каких-нибудь легкомысленных внеурочных перекусов, но все равно было бы очень странно, посмей вдруг кто угодно, кто-то один, решать, сколько каждый из нас может позволить себе съесть за день. Это ведь была наша общая еда. Никто и не взялся бы определять теперь, кому именно принадлежала эта коробка с рыбными консервами, этот мешок сахара или пачка макарон. Все эти картонки, мешки и пакеты, которых вроде было так много, мы просто свалили в кучу в одном месте. Не существовало и никакого специального порядка, никакой договоренности о том, кто именно будет сегодня готовить. Мы просто делали это, то один, то другой; было ведь очевидно, что как минимум дважды в день нам всем нужно съесть что-нибудь горячее. И дети, дети всегда были голодны. Без сладостей и фруктов оба они, и мальчик, и девочка, очень быстро прекратили капризничать и выбирать и ели теперь быстро и много, словно какой-то инстинкт, который еще не успели расслышать взрослые, подсказывал им эту необходимость.

Первой мы прикончили картошку. Она занимала больше всего места и в последние недели вела себя странно – принялась морщиться и зеленеть, покрываясь жирными и белыми, словно опарыши, ростками. К началу февраля у нас остался один неполный мешок, и, признаться, есть ее стало уже страшновато. Кто-то (кажется, Марина) предложил оставить ее до весны и попробовать посадить, но было ясно, что картошка эта до весны не доживет, не говоря уже о том, что никто из нас не представлял себе, как именно к этому подступиться. Тем более что устроить грядки здесь, на острове, все равно не получилось бы. Остров был слишком мал и к тому же весь завален гигантскими, неподъемными валунами. Серые, рыжие и черные глыбы торчали даже из-под снега, прислоняясь к искривленным стволам растущих между ними сосен; вросшие в землю и лежащие друг на друге, они были похожи на чьи-то исполинские игрушки, беспорядочно разбросанные и забытые своим хозяином. Не было их только в одном месте – там, где стоял дом, упираясь мостками прямо в мутный белесый лед, покрывавший замерзшее озеро. «Это хорошо, Анька, –

говорил мне Сережа, – эти камни – лучшая защита, настоящий крепостной вал, высокий и неприступный. Ни одна сволочь не сможет пробраться сюда незамеченной. Мы увидим любого, кто попытается навестить нас – пешком ли по льду, на лодке ли, – к острову можно подойти только в одном месте, прямо возле дома, у нас под носом. Здесь все равно ни черта бы не выросло, – говорил он, – даже если бы их не было, этих камней. Лето короткое, ночи холодные, это же тайга, ну какие тут огороды. До весны продержимся, а там утки прилетят, и будет мясо, много мяса, а потом пойдут грибы. Здесь такие белые – прямо вдоль дороги растут, их и искать не надо, нагнулся и сразу полное ведро. И брусника, знаешь, сколько тут брусники, целые поляны, как будто ее нарочно сажали, ты такого не видела никогда».

Он очень старался, Сережа, старался каждый день доказать всем нам, что мы приехали сюда не напрасно. В первую же неделю он надставил полурассыпавшийся дымоход, чтобы печь перестала наконец дымить. Потом долго и тщательно конопатил щели, сквозь которые в этот летний, хлипкий скворечник неумолимо просачивался мороз. Он пытался даже очистить жалкое наше жилище от массы разнородного, ненужного, унылого барахла, оставленного десятками безымянных рыбаков и туристов, бывавших здесь когда-то, и не смог, конечно, потому что сам этот дом, весь целиком, со своими облезлыми стенами, провисшим потолком и мутными подслеповатыми окошками состоял из этого барахла, был из него сложен. Но Сережа старался. Я думаю, он хотел, чтобы мы поняли, насколько верным, единственно возможным было его решение – уехать именно сюда, в это неуютное, безлюдное место. Хотел, чтобы кто-нибудь из нас сказал ему: ты был прав, ты спас нам жизнь, или хотя бы просто помог ему делать вид, что всё хорошо, что уже не страшно, что мы справимся. Только никто из нас не смог этого сделать, даже я. У нас просто не хватило сил. Мы были слишком измучены дорогой, двенадцатью сутками торопливого бегства, до краев наполненными неуверенностью и страхом, так что вместо облегчения сразу после приезда, когда вещи из машин были переправлены сюда, на остров, мы по какой-то неясной причине все разом провалились в глухую безнадежную апатию. То, что нас теперь окружало, давило немилосердно: вездесущий, всюду проникающий холод, короткие тусклые дни, когда солнце даже не поднимается над горизонтом, и маленький грязный дом, и нельзя было не задаваться вопросом: неужели это всё? Разве за этим мы бежали? Разве можно это выдержать? И дни сменяли друг друга: одинаковые, пустые, бессмысленные.

Он пытался выглядеть уверенно, но с каждым днем это давалось ему все труднее, особенно после того, как мы поняли, что остались одни; хотя все

случившееся на том берегу и было лучшим подтверждением его правоты. Только вот чувство одиночества, навалившееся на нас теперь, когда исчез этот маленький и условный, но все-таки буфер между нашим маленьким островом и остальным миром, оказалось слишком сильным даже для него, потому что с этого дня никаких запасных вариантов для нас уже не было, и мы действительно были теперь сами по себе.

Я думаю, ему было сложнее, чем нам. Пока мы пробовали примириться с окружающей нас безнадежностью, прерываясь только на еду, сон и вялые переругивания друг с другом, именно он весь декабрь провел на озере, пытаясь научиться ловить под толстым, как бетонная плита, льдом сонную редкую рыбу, и к моменту, когда стало ясно, что оставшихся у нас консервов, муки, макарон и сахара хватит в лучшем случае недели на три, уже знал определенно, что в зимние, темные месяцы озеро нас не прокормит. Поначалу с ним ходил только Мишка. Каждый день сразу после завтрака они наполняли термос горячим чаем, укутывали лица по самые глаза и отправлялись проверять поставленные накануне сети. Потом, в январе, присоединились и остальные, но количество рыбы, которую они приносили домой, от этого почти не увеличилось. Сетей было всего две – та, которую захватил с собой Андрей, и еще одна, найденная в дачном поселке под Череповцом, и потеря любой из них стала бы для нас невосполнимой. Чтобы добраться до воды, полуметровый лед нужно было рубить тяжелыми топорами, а потом осторожно погружать сети в ледяную вязкую воду. У наших недавних соседей существовала уйма разнообразных приспособлений, не дававших сетям утонуть или примерзнуть ко льду, и Сережа, к счастью, успел подсмотреть, как они ими пользовались. Но кроме этих нехитрых в общем-то фокусов соседи явно умели что-то еще, знали какой-то секрет, которому Сережа не успел научиться, так что рыбы в наших сетях никогда не бывало много, и в основном она была мелкая и тощая, с острыми, как бритвы, плавниками, резавшими пальцы в кровь, а порезы эти заживали очень медленно.

А может быть, Сережа понимал с самого начала, что еды нам не хватит; я не знаю точно. За эти несколько месяцев мне, как ни странно, ни разу не удалось поговорить с ним по-настоящему, хотя каждую ночь мы ложились в одну постель, и всё время, за исключением трех-четырех светлых часов на озере, он был здесь, рядом. Просто мы никогда теперь не оставались одни. Это было невозможно в крошечной двухкомнатной конуре, заставленной старыми железными кроватями, как заброшенный детский лагерь из дешевого триллера. Ни в одном ее углу не нашлось бы места, в котором нашего разговора не услышал бы кто-то еще, а я с удивлением обнаружила, что совершенно не умею разговаривать с ним при свидетелях. Их было слишком много – всех остальных,

мешавших мне, и они по какой-то причине занимали теперь все его время. Бывало, я часами просто пыталась поймать его взгляд, и даже это получалось не всегда. В каком-то смысле это было даже хуже тех двенадцати дней, которые мы провели в дороге, в разных машинах, потому что тогда хотя бы во время коротких, торопливых стоянок я могла подойти к нему и обхватить руками, и мне было плевать на то, что они смотрят, потому что вокруг было слишком страшно. Теперь тоже было страшно, но сегодняшний страх оказался другим, тягучим и вязким, будничным, и больше не давал мне такой свободы.

Мне кажется, в первый раз за эти месяцы я сумела поговорить с Сережей именно в тот день, когда стало ясно, что еды до весны не хватит. Вернувшись с двумя консервными банками и упаковкой гречки, Наташа сказала вдруг, ни к кому конкретно не обращаясь:

– Вы не поверите, но я только что открыла последнюю коробку с тушенкой, – и неуверенно улыбнулась, как будто это была шутка, не самая удачная, но все же шутка.

Все мы, разумеется, бросились туда, где были сложены наши запасы продовольствия, и вместо обеда два часа просидели на полу, пересчитывая банки и пакеты, пытаясь определить дневную норму. Мы даже, кажется, решили ограничиться в этот день одной банкой тушенки вместо двух, но, как бы мы ни считали, нас было одиннадцать человек – включая детей, которые ели теперь как взрослые, – и это означало, что самое позднее через месяц у нас не останется ничего.

Я проснулась посреди ночи, как просыпалась до этого сотню раз; не было случая, чтобы я не проснулась по крайней мере однажды, потому что так и не смогла научиться спать в одежде, укрываясь спальным мешком, в маленькой комнате, в которой, кроме тебя, лежит еще пять человек; казарма, больничная палата, что угодно – только не спальня. Как всегда, было душно. Я откинула ощетинившийся колючей молнией угол спальника и попыталась повернуться на бок; проклятая железная сетка кровати жалобно и громко скрипнула и разбудила меня окончательно. Сережи рядом не было. Несколько минут я лежала в темноте, слушая, как легко постукивает неплотно прикрытая входная дверь и посвистывает морозный воздух, врывающийся снаружи; затем встала, нашарила куртку, переброшенную через спинку кровати. Лежащий возле печки Пёс шевельнулся, когда я перешагивала через него, но не поднялся. Привычно пригнувшись, чтобы не стукнуться о низкую притолоку, я вышла на

улицу.

Он сидел почти возле самой двери, упираясь спиной в стену, и я скорее угадала его присутствие, чем увидела его. Протянув руку, я коснулась его плеча и осторожно опустилась рядом на дощатый помост, опоясывающий дом. В лицо мне неожиданно пахнуло горьковатым дымом, и тогда я спросила с завистью:

– Где ты взял сигареты?

Сережа сделал еще одну затяжку, осветившую на мгновение его лицо, усталое и осунувшееся, с темными ямами глаз, заросшее непривычной, мягкой вьющейся щетиной (они все теперь перестали бриться и понемногу начали зарастать бородами), а потом повернулся ко мне и ответил, тихо и виновато:

– Это чай, – и прежде чем я успела рассмеяться (мы курили чай в восьмом классе, дома у Ленки, потому что не нашли сигарет в месте, где их обычно прятала Ленкина красивая рассеянная мама; у нас тогда получилась огромная, нескладная, то и дело разворачивающаяся самокрутка, и после первой же попытки стало ясно, что курить это невозможно), он протянул мне плотный бумажный столбик и спросил: – Будешь?

Курить эту гадость по-прежнему было нельзя: рот немедленно наполнила оглушительная горечь горящих чайных листьев с какой-то посторонней примесью – кажется, типографской краски. Я закашлялась и вернула ему самокрутку.

– Это ужасно, – сказала я.

– Я знаю, – отозвался он, – больше не буду. Чая тоже осталось совсем чуть-чуть, и лучше, если мы его все-таки выпьем, – но, говоря это, еще раз поднес к губам свою самодельную сигарету.

Мы сидели молча несколько минут, с головой укрытые непроницаемой тьмой и тишиной, нарушаемой разве что еле слышным потрескиванием догорающего чая в самокрутке, и я думала – вот, наконец, мы остались одни, только вместо того, чтобы разговаривать, произносить какие-то слова, задавать вопросы, я просто молча сижу рядом, и готова просидеть так сколько угодно, до тех пор, пока холод не загонит нас обратно. Он вдруг повернул ко мне лицо – я скорее

почувствовала это, чем увидела, – и сказал глухо:

– Нам нужно сходить на тот берег.

– Нельзя, – сказала я быстро. – Ты же знаешь – нельзя.

Он ответил не сразу. Какое-то время молча потрошил остатки самокрутки, рассыпая себе под ноги ее тлеющую, резко пахнущую начинку.

– У нас нет другого выхода, – сказал он наконец. – Рыбаки из нас дерьмовые, и на одной только рыбе мы не протянем. На такую ораву нужно по ведру в день. Ты же видела, сколько мы приносим, ничего не выйдет. У них там было полно всего – еда, оружие, теплые вещи, ты только представь себе…

– Ну не только же рыба? – начала я неуверенно. – Мы можем охотиться, разве нет? У нас ружья и полно патронов, вы ведь даже не пробовали?..

– Сейчас зима, Аня, – сказал он терпеливо. – Я знаю, как охотиться на уток, но сейчас уток нет, и до апреля здесь не будет вообще никакой птицы. Мы ни черта не умеем, малыш, и глупо надеяться, что мы возьмем хотя бы зайца, особенно без собаки, без настоящей охотничьей собаки. Твоя дворовая образина не в счет. Мы можем ходить по лесу часами, мерзнуть, тратить силы и не найти вообще никого. Ты пойми, это не детская книжка про Следопыта, это настоящий лес, его надо знать, а я в жизни не был здесь зимой. Нам пришлось бы уходить далеко, километров на десять пешком. Отец не дойдет. А эти идиоты ничего не понимают! Ты бы видела их в лесу – топают, трещат ветками… Я дал им ружья, так они по шишкам стрелять начали, по шишкам, мать их! Как будто это корпоратив на свежем воздухе, как будто тут на каждом углу продаются патроны. Они и правда верят, похоже, что мы здесь только до весны, что потом нам будет куда вернуться.

Он взмахнул рукой и с отвращением выбросил догоревшую самокрутку далеко в снег.

– Мы еще не голодаем, – сказала я безнадежно, уже не для того, чтобы спорить с ним, а просто чтобы дать ему возможность наконец произнести вслух то, о чем он думал все это время, может быть, с самого начала, наблюдая за тем, как тают наши запасы еды, выжидая момент, когда мы тоже поймем, что до весны нам не

дотянуть, и согласимся наконец с тем, чтобы совершить эту жуткую вылазку на тот берег, которой мы так боялись, так отчаянно не хотели. И тогда он повернулся, больно сжал мое плечо и заговорил яростным, сердитым шепотом:

– А мы начнем. Очень скоро – начнем. Ты не знаешь, что это такое. Никто из нас не знает, мы не умеем голодать. Нам придется урезать порции – вдвое, втрое, но через пару недель все равно останется только рыба, и ее будет мало, ее не хватит на всех. Нам придется выбирать – кто именно будет есть. Дети? Или те, кто должен проверять эти чертовы сети? Между прочим, это три-четыре километра каждый день по морозу, и надо рубить лед. А потом какая-нибудь из этих сетей примерзнет или порвется, или ее утащат какие-нибудь гребаные выдры, или просто несколько дней подряд нам не попадется вообще ничего – и всё, понимаешь, и всё. Даже если мы съедим эту твою бестолковую собаку – все равно. У нас начнут шататься зубы, Аня, и мы будем всё время спать. И когда наконец прилетят первые утки, ни у кого из нас уже не хватит сил бегать за ними по лесу. Нам непременно надо дотянуть до уток, и поэтому мы должны пойти на тот берег. Их было тридцать с лишним человек, и еды там наверняка осталось до черта, нам просто ничего другого не остается. Разве что стрелять ворон.

Сережа замолчал, тяжело дыша и все так же больно сжимая мое плечо, а я смотрела на него, стараясь разглядеть в темноте выражение его лица, и не видела, и сказала только:

– Ты не можешь решить это один.

И тогда он отпустил меня.

– Я должен, – сказал он куда-то себе под ноги. – Я устал вечно всех уговаривать. Смотреть, чтобы все припасы не сожрали в один день. Чтобы не палили на каждый шорох в кустах и не расстреляли за неделю все патроны. Устал следить за озером и убеждать их, что нельзя всем одновременно ложиться спать. Что кому-то надо всегда оставаться с женщинами в доме. Они уверены, что никто не придет, что больше некому приходить, – а это неправда. Мне надоело ждать, пока вы все включите, наконец, мозги, и поэтому я не буду больше никого слушать. Даже если они все будут против, если никто не согласится – я схожу один. Завтра и схожу. Надо просто закутать как следует лицо и не смотреть. Там все вымерзло давно и наверняка уже не опасно, а они… они, наверное, просто похожи на спящих, и еще какое-то время будут похожи. До весны точно. Нам

обязательно надо сделать это до весны. Пока еще можно туда зайти. Потому что как только станет тепло, все это просто придется сжечь – целиком, вместе с едой и со всем прочим барахлом.

– У нас есть еще время.

Я протянула руку в темноту и дотронулась до его щеки, сухой и горячей, словно вокруг не было ни ветра, ни мороза.

– Обещай мне, что не пойдешь туда один. Может быть, что-нибудь изменится. Мы урежем порции, мы будем есть один раз в день, и, может, нам удастся растянуть то, что осталось, на подольше. Может быть, проснется эта чертова рыба. Или вам попадется лось. В конце концов, давай стрелять ворон. Нам нельзя на тот берег. Стоит нам только зайти внутрь, вдохнуть однажды, прикоснуться к чему-нибудь… я не знаю, как это работает, но уверена, что этого делать нельзя, по крайней мере, до тех пор, пока нас совсем не прижмет.

Он молчал и не оборачивался ко мне. Я его не убедила, подумала я, не убедила, потому что сама не верю в то, что говорю; надо сказать что-то еще, чтобы он согласился подождать, потому что сейчас с ним никто больше не пойдет, никто из спящих сейчас за нашей спиной в маленьком тесном доме не согласится зайти туда, ворошить застывшие на холоде вещи, отводя глаза, стараясь не смотреть на тех, кто лежит там. Они ни за что не согласятся – до тех пор, пока мы в самом деле не начнем голодать.

– Давай подождем, – сказала я, – недолго, несколько недель, пожалуйста. Подождем. И тогда, даже если все будут против, я пойду с тобой.

* * *

До них было совсем недалеко – каких-то два километра пешком по льду, и в светлое время суток на фоне тускло-серого неба с нашего острова видно было уютное аккуратное облако дыма, вырывавшегося из труб двух огромных бревенчатых изб, чистых и новых, совсем непохожих на нашу жутковатую пародию на человеческое жилье. Там, в этих избах, были настоящие кровати, посуда, постельное белье. У них даже была баня – просторная, отдельно стоящая, пахнущая свежим некрашеным деревом, и тем, кто удобно и без

стеснения устроился на том берегу, не приходилось мыться по очереди возле приоткрытой печной дверцы над мутным эмалированным тазом, стараясь не ступить чистой босой ногой на черные от въевшейся грязи половые доски. Электричества, конечно, не было и там, зато у них было достаточно спален, чтобы обеспечить им хотя бы какую-то, пусть минимальную раздельность, обособленность друг от друга; и еще столы – разной высоты, собранные по всем комнатам, но в достаточном количестве, чтобы все могли есть одновременно, сидя, как люди.

Они были готовы позволить нам остаться там, с ними, и не было дня, чтобы мы, безуспешно пытаясь обжиться на маленьком жалком острове, не задумались о том, правильно ли сделали, когда отказались.

Нельзя сказать, чтобы мы часто виделись с ними. Разве что Сережа во время своих рыболовных экспедиций встречался с пятью-шестью мужиками с того берега, всегда одними и теми же, которые, как и он, ежедневно проводили на озере два-три светлых часа. Они показали ему, как определять направление течения, чтобы медленный тяжелый ток ледяной воды сам расправил длинную неповоротливую сеть, и как потом закрепить ее, чтобы она не примерзла и не оторвалась. Наблюдая за его неудачами, они несколько раз даже (не без ехидных, конечно, комментариев) вручили ему пару-тройку увесистых рыбин, вывалянных в снегу, напоминавшем крупную соль, «чтобы бабы твои не смеялись». Потом выяснилось, что он так и не узнал, как их звали; мужики и мужики, не до этого было – знакомиться, задавать вопросы, разговаривать.

По сути, мы так и не узнали никого из них как следует, несмотря на то что целый месяц прожили совсем рядом, почти бок о бок. Их было тридцать четыре человека. Хотя ребенок, ради которого доктор тогда, в декабре, остался с ними, наверняка успел уже родиться, так что перед самым концом их стало уже тридцать пять – мужчин, женщин и детей, приехавших из одного и того же поселка, построенного вокруг пограничной комендатуры, – последнего крупного населенного пункта в этих местах; мы наверняка проскочили его насквозь в тот, последний день нашего бегства, и он показался нам таким же пустым и заброшенным, как и многие другие, большие и маленькие, безликие, оставленные жителями, и мы даже не успели запомнить его названия. Они все были заодно, вместе, и необходимость жить тесно, на виду друг у друга, не доставляла им, казалось, никаких мучений. Они просто приняли ее, усвоили разом, каким-то непостижимым образом в одну минуту вернувшись к спокойному и деловитому деревенскому укладу жизни, в котором нет и не может быть

электричества, горячей воды, мобильной связи и продуктовых магазинов; и даже если бы вместо двух просторных и светлых домов им досталась наша темная, ветхая развалюха, они, наверное, все равно ухитрились бы как-то устроиться в ней и обжиться, не тратя времени на сожаления и жалобы.

Я думаю, мы не остались на том берегу не только из-за Сережиного разбитого лица и не из-за враждебной настороженности, с которой они встретили нас в ту ночь, когда мы гуськом вышли из леса в масках, которые они заставили нас надеть. И уж точно не из-за того, что порядок, в котором они безропотно и даже жизнерадостно существовали, показался нам таким неуютным и открытым, таким несвободным. Первая же неделя в маленьком доме на озере с его узкими комнатами лишила нас всяких иллюзий на этот счет. Мы просто никогда больше об этом не говорили. Ни разу после того ночного разговора в день приезда, когда еще можно было решить – уйти или остаться. Тогда Сережа сказал только «они другие, и их больше», и одного этого оказалось достаточно, чтобы мы единодушно согласились – нам будет лучше уйти. Мы все – даже папа, десять последних лет проживший в деревне, даже Лёня – почему-то сразу поняли: эти люди никогда до конца не приняли бы нас. И поэтому, каждый день ища глазами дым, поднимающийся из их труб, а по ночам стараясь разглядеть свет из окон, пробивающийся среди густо растущих на том берегу деревьев, никто из нас за весь декабрь озеро так и не перешел, и почти единственной нашей связью с ними так и остался доктор.

Не знаю, приняли ли они доктора. Пожалуй, он все равно не почувствовал бы их неодобрения, даже если оно и возникло. Он бывал у нас то и дело не потому, что ему неуютно было там, и уж точно его частые визиты нельзя было объяснить вниманием к дырке в Лёнином животе: за три недели она успела затянуться совсем и почти уже не болела, оставив после себя только некрасивый кривой шрам, темно-бурый, так и не побелевший. А доктор приходил все равно. Раз в несколько дней на другой стороне плоской и белой, как фарфоровая тарелка, поверхности озера появлялась его плотная фигура, издалека похожая на торопливо шагающую толстую черную птицу (девки, ставьте чайник, вон идет ваш императорский пингвин, говорил Лёня нежно), и мы всегда были рады его приходам, хоть ему и нечего, по сути, было рассказать нам. Новости с того берега, как и наши, не отличались разнообразием: холодно, пока не голодаем, рыба есть, но немного, все здоровы, пока всё тихо.

Время от времени Калина, даже на расстоянии опекая Иру с мальчиком, посылала с доктором молоко. На том берегу действительно была коза,

настоящая коза, заслужившая, очевидно, отдельное место в «шишиге», на которой они так же поспешно, как и мы, бежали из своего умирающего поселка, успев собрать только самое необходимое. Молока никогда не бывало много, и чтобы получить новую порцию, нужно было вначале вернуть помятую пластиковую бутылку, в которой оно путешествовало с одного берега на другой. Дети мгновенно привыкли к его резковатому вкусу и запаху и пили жадно, без капризов. Нам нечего было послать взамен; лишней еды у нас не было, уловы были смешны, а из скудного запаса одежды, которую мы взяли с собой, могучей Калине ничего бы не подошло. В конце концов Марина отправила ей один из своих изящных золотых браслетов, и, несмотря на Лёнины насмешки (нужны ей твои цацки, Маринка, в лесу, ей бы ботинки хорошие, или шубу, или тушенки коробки две), подарок назад не вернулся, что означало – он принят.

Два раза к нам заглядывал Семёныч – вероятно, самопровозглашенный, но от этого не менее авторитетный предводитель их маленькой колонии. Оба раза он приходил один и пробыл совсем недолго. Его посещения не были похожи на приятельские визиты разговорчивого доктора; тяжело усаживаясь на одну из кроватей, он принимал кружку с горячим чаем (тогда у нас был еще чай), какое-то время молча, сосредоточенно прихлебывал, оглядывая наш жалкий, кособокий быт, а затем задавал какие-нибудь ничего не значащие вопросы вроде «не дымит печка-то?» или «кроватей – как, хватило? нормально?». И то, как мы неловко стояли вокруг него, сидящего, как неестественно и торопливо отвечали ему и с каким облегчением наконец провожали, напоминало мне ежемесячные визиты квартирного хозяина к бесправным жильцам; как будто от одной только доброй воли этого невысокого коренастого человека с помятым лицом и зависело наше право находиться здесь.

Примерно за неделю до Нового года до берега добралась наконец вторая отставшая группа, которую они ждали с таким нетерпением, и которая должна была приехать еще в конце ноября. Что ее задержало, мы так и не узнали, хотя о ее приезде нам стало известно почти сразу, потому что за доктором, в тот день гостившим у нас, с того берега послали человека. Он постучал в дверь и зашел, нагнувшись, конфузливо стянув с головы меховую шапку, и мне показалось, что я вижу его впервые в жизни, хотя, безусловно, за ночь и несколько утренних часов, которые мы провели на той стороне озера, все лица запомнить было невозможно. Проходить в дом незнакомец не стал; вместо этого он торопливо кивнул нам в знак приветствия, а затем нашарил взглядом доктора и позвал вполголоса, но настойчиво:

– Пал Сергеич, а Пал Сергеич! Приехали, – и остался стоять там же, возле двери, со смятой шапкой в руках, не объясняя больше ничего, словно эта короткая фраза содержала всю информацию, которую доктору следовало знать.

– Кто приехал? – спросила Наташа, но пришедший даже не повернулся в ее сторону.

Он продолжал настойчиво глядеть на доктора, сидевшего тут же, на краешке кровати, с пол-литровой железной кружкой в руках. Доктор всегда удивлял меня тем, сколько чая способен был выпить за один присест, – прикончив первую порцию, он застенчиво просил плеснуть ему «еще кипяточка, прямо в заварку, ничего», и мог повторять этот ритуал бесконечно, пока жидкость в кружке совсем не теряла цвет. И хотя в этот раз в руках его была самая первая, самая «чайная» порция, он вдруг резко, расплескав, поставил кружку на стол и встал.

– А Иван Семёныч что? – строго спросил он стоящего у двери незнакомца, одновременно натягивая на плечи свою бесформенную куртку. Тот пожал плечами.

– Выгружаться начали, – только и ответил он, – ты поспешил бы?..

– Пойдем, конечно, – сказал доктор и пошел к выходу.

Было совершенно очевидно, что он в одну минуту забыл и о своей вожделенной кружке, и о нас, и только когда Марина, уже в спину, испуганно крикнула ему: «Кто приехал? Что случилось?» – он обернулся и сказал своим обычным мягким, извиняющимся голосом:

– Я как раз собирался вам рассказать. Они два дня назад выходили на связь. Их двенадцать человек, у них были… неприятности по дороге, и кто-то, кажется, ранен. Мы ждали их вчера, но они не приехали, – и, предупреждая следующие вопросы, потому что Марина уже открыла рот, чтобы задать их, поднял руку защищающимся, останавливающим жестом: – Я зайду на днях и расскажу подробнее, не волнуйтесь, пожалуйста, всё в порядке, это свои.

После этих слов он вышел вслед за своим немногословным спутником, ни разу больше не обернувшись, и оставил нас гадать, кто такие эти загадочные «свои», которые приехали сегодня, до тех пор, пока кто-то не вспомнил подробнее

детали того насыщенного событиями дня, в течение которого мы успели, зажмурившись от ужаса, проскочить страшный погибший Медвежьегорск, едва не потеряли папу прямо посреди безлюдной заснеженной трассы и совсем уже ночью, обессилевшие и напуганные, добрались до озера. Мы не рассчитывали никого здесь встретить, а в итоге наткнулись на кучку занявших берег людей, которые могли сделать с нами все что угодно: заставить остаться с ними и подчиниться их правилам или отобрать скудные запасы еды, одежды и топлива и прогнать нас, а то и просто без лишних проволочек перестрелять, – но вместо этого позволивших нам просто пройти мимо и стать их соседями, отгородившись ими от опасного и непредсказуемого теперь внешнего мира. Вполне вероятно, они и впустили нас потому, что ждали возвращения этих неизвестных двенадцати человек, оставшихся там, откуда сами они убежали так быстро, как только было возможно. Наверное, именно этим двенадцати было поручено собрать что-то важное. Что-то, без чего даже их приспособленная, казалось, ко всему община не надеялась дожить до весны. Мы вспомнили все, что услышали той ночью, когда, не сняв еще масок, толпились в тесной комнате с тускло полыхающей печкой, и перестали тревожиться: эта вторая пропавшая группа, почти месяц не выходившая на связь, потому что даже мощные военные рации не добивали сюда, в глушь, которую и мы, и люди на том берегу выбрали своим убежищем, действительно состояла из «своих». А сейчас, в нашем новом перевернутом мире, люди и правда строго делились на своих и чужих, и любая ошибка могла обойтись слишком дорого.

В тот вечер я лежала рядом с Сережей под раскатистый Лёнин храп в душной, как всегда избыточно натопленной комнате (они вечно настаивали на том, что перед сном необходимо набить закопченную печь под завязку, потому что «детям будет холодно», и с этим так же невозможно, некрасиво было бы спорить, как невозможно было лежать всю ночь без движения, глотая вместо воздуха пыльное тепло и запахи одиннадцати тел) и думала о том, что на берегу сейчас никто не спит. Я представляла, как все они собрались, наверное, в заставленной разномастными столами гостиной и слушают рассказы своих вернувшихся соседей – маленькая сплоченная община, в которой просто не существует условностей, так сильно осложняющих нам жизнь; в которой никто не обязан любить или не любить друг друга, принимать или не принимать, потому что принадлежность каждого из них к этой общине неоспорима. И впервые почувствовала что-то похожее на сожаление из-за того, что мы не стали ее частью.

Ни на следующий день, ни через два дня доктор не пришел, и это было понятно и не обидно. Нам легко было представить себе все эти новые хлопоты,

связанные с прибытием опоздавшей группы, которая привезла с собой раненого человека и что-то еще. Что-то, достойное этого опоздания. И хотя нам, конечно, очень хотелось узнать, что именно они привезли, ради чего задержались, что они видели, что происходит сейчас там, на Большой земле, спустя месяц после того, как все мы покинули ее, что там осталось и осталось ли что-нибудь вообще, – даже тогда никто из нас так и не пошел на тот берег. Сложно сказать почему, но мы ждали, пока они сами вспомнят о нас, не желая навязывать им ни свое общество, ни свое любопытство; только соседи наши были, похоже, слишком заняты в эти дни, и даже на озере, куда Сережа с Мишкой ежедневно ходили проверять сети, они не встретили никого из обычных своих насмешливых наставников.

Тридцатого декабря Сережа поймал щуку. Она была большая, почти полуметровой длины, с острой клиновидной головой, жутковатой изогнутой пастью и злыми бессмысленными черными глазами, и попалась в наши неумело поставленные сети скорее случайно, едва не разломав непрочную деревянную конструкцию, удерживавшую их над водой. Это была такая неожиданная, такая шальная удача, что они с Мишкой не стали даже задерживаться, чтобы заново поставить сети, а вместо этого сразу побежали назад. Мишка торжественно внес безвольно обвисшую, расслабленную тушу в дом, а потом мы восторженно хлопотали вокруг в поисках йода, чтобы обработать порезы, и оба они – окровавленные, счастливые – рассказывали о том, что, когда вытащили сеть, щука была еще жива и сильно, яростно билась, словно стараясь выпутаться и прыгнуть обратно в темную ледяную воду, и чтобы остановить ее, Сереже пришлось воткнуть ей охотничий нож прямо в толстый затылок, но пока они с Мишкой пытались прижать ко льду извивающееся скользкое рыбье тело, она успела в кровь изрезать им руки своими острыми, загнутыми вовнутрь зубами.

Уже после, когда радостное волнение немного улеглось, Сережа сказал, что поймать сетью щуку, особенно зимой, особенно такую большую – невероятная редкость, на которую нечего и рассчитывать. Какая-то аномальная, почти сверхъестественная сила заставила ее подняться ко льду и попытаться пообедать горсткой запутавшихся в сети мелких серебристых рыбешек (которые и составляли обычно весь наш ежедневный улов) именно сейчас, когда самой природой ей было предписано вяло, в полусне болтаться на глубине. Но что бы ни говорили Сережа и папа, это мясистое рыбье тело, лежащее поперек шаткого стола и занимавшее почти всю его поверхность, было для нас зна?ком. Неоспоримым, первым доказательством того, что холодное, покрытое льдом озеро нам не враг, и что достаточно просто подобрать к нему ключ, расшифровать правила, по которым оно согласно делиться с нами жизнью,

и можно будет не бояться голода.

Эти два дня – первый, когда Сережа с Мишкой поймали щуку, и следующий сразу за ним канун Нового года, – оказались, пожалуй, самыми счастливыми из всех, проведенных нами на озере, и я рада тому, что тогда мы еще этого не знали, потому что на самом деле ничего особенного в них не было. Нам было так же неуютно и тесно вместе, так же неловко, так же больно от воспоминаний, каждому от своих. Просто эти два события, по какому-то странному стечению обстоятельств почти совпавшие во времени – щука и неуместный здесь, но от этого еще более нужный праздник, – неожиданно погрузили нас всех без исключения в какую-то почти безмятежную радость. Окрыленные нечаянным Сережиным рыбацким успехом, Лёня и Андрей отправились вместе с ним на озеро ставить сети заново. Папа принялся неторопливо, со смаком потрошить щуку и даже со щедростью, спустя каких-нибудь две-три недели показавшейся бы любому из нас расточительной, отдал Псу все щучьи потроха, которые выбросил прямо на снег, и от которых в считаные минуты не осталось ни следа, ни капли, словно их и не было вовсе. Из гигантской головы, плавников и хвоста получилась целая кастрюля мутной, жирной, но невероятно вкусной ухи, варил которую тоже папа, в то время как мы, остальные, были только удостоены чести почистить несколько вялых, битых морозом картофелин. Под занавес папа торжественно влил прямо в кипящую, оглушительно благоухающую жидкость почти полстакана спирта; «для аромата», сказал он, улыбаясь, а после долго, зажмурившись, пробовал и досаливал, приговаривая: «Петрушечки бы, а? Лучку бы!» – но тем не менее остался очевидно доволен результатом.

Выпотрошенная и обезглавленная щучья туша и стала основным – и единственным – нашим новогодним блюдом. Несмотря на мороз, мы решили готовить ее на улице; слишком жалкими для праздничного ужина показались нам внутренности обшарпанного домика. Нам пришлось развести два костра – один, большой, чтобы не замерзнуть, и второй, поменьше, предназначенный для щуки, которая даже в облегченном виде оказалась слишком тяжела для нашей хлипкой китайской решетки, и поэтому, прежде чем запекать, ее пришлось разрезать на плоские одинаковые куски. Натирая перламутровую мякоть солью, Марина жалобно говорила:

– Ну почему я не взяла специй к рыбе, ни тимьяна, ни перца! Главное, я ведь помню даже, где они у меня стоят, вот дура!.. – И от этих ее причитаний, от прочих радостных хлопот с разведением костров, от деловитой беготни с улицы в дом и обратно, от криков «Закрывайте дверь, тепло выпустите!» на какое-то

мгновение даже начинало казаться, что все это – и темнота за окном, и лес, и неуютный дом – всего-навсего обычная, суматошная, плохо спланированная поездка на чью-нибудь дачу, временное веселое неудобство которой закончится завтра же, как только выветрится хмель и можно будет снова садиться за руль.

К моменту, когда на месте первого маленького костра образовалось достаточное количество вспыхивающих на ветру углей и дошло наконец до щуки, уже давно стемнело, и небо, нависавшее в светлое время низким серым потолком, сразу же распахнулось над нами, сделалось черным и прозрачным. Мы стояли вокруг большого огня, исторгающего вверх столб вьющихся оранжевых искр, и не чувствовали холода, и вдыхали восхитительный, кружащий голову аромат шипящей на решетке рыбы; и папа сказал предсказуемо:

– Ну что, по маленькой? Проводим старый год, – и потащил из глубокого кармана бутылку со спиртом.

После неизбежной суеты с поиском подходящей посуды, споров о том, следует ли разбавить огненную жидкость или пить ее просто так, после того как Мишка дважды сбегал в дом – сначала за водой, потом за недостающими чашками, – вдруг оказалось, что мы стоим в тишине, сжимая в руках разносортные кружки и стаканы, и не можем поднять друг на друга глаза.

– Знаете, за что давайте?.. – произнес наконец Лёня. – Давайте за… ну, в общем, не чокаясь, ладно?

– Я не хочу – не чокаясь, – тихо, зло сказала Наташа. – Я не буду – не чокаясь. Ясно вам? Не буду.

– Наташка… – начал Андрей и взял ее за руку; она вырвалась.

– Мы просто не смогли к ним добраться. Эта чертова трасса, и этот жуткий мост. Это ничего не значит!..

Мы не смотрели на нее. Никто из нас не смотрел, чтобы не видеть ее лица.

– Я говорила с отцом прямо перед самым выездом, он сказал – у них все спокойно, он обещал мне! Обещал, что они никуда больше не поедут. Они

в стороне, – теперь она уже плакала, – в стороне, это не Питер, это пригороды, они вполне могли…

– Рыба-то! – заорал вдруг папа так, что все мы вздрогнули. – Рыбу спалим сейчас! Мишка, а ну-ка, посвети мне, Сережа, как же мы забыли?

И немедленно снова стало шумно и суматошно, так что сквозь весь этот гомон и папины негодующие крики жалобное Наташино «просто пропала связь – и все, я даже не… даже…» захлебнулось и затихло, растворилось в остальных звуках, а когда немного подгоревшую рыбу разложили по тарелкам, уже можно было делать вид, что этой короткой яростной вспышки просто не было.

А потом мы, стоя вокруг костра, ели рыбу. Прямо руками, вместе с обугленной корочкой, обжигаясь и втягивая сквозь зубы холодный воздух, и прихлебывали горький спирт безо всяких тос-тов, потому что до тех пор, пока горячая семидесятиградусная волна не поднялась и не оглушила нас хотя бы немного, говорить больше было нельзя. И конечно, эта волна очень скоро поднялась и оглушила, и мы снова заговорили, ни о чем и обо всем сразу, и не могли остановиться, как будто прорвалась какая-то невидимая плотина, стена, мешавшая нам слышать друг друга весь этот бесконечный, холодный, унылый месяц, наполненный разочарованием и крушением надежд. Полыхающий костер все выплевывал в черное небо свои искры, и не слышно было отдельных слов, а только уютный, дружный гул голосов. Мы улыбались, чокались глухо звякающими кружками, произносили дурацкие бодрые тосты, и вот уже Сережа с Андреем, подпирая друг друга и страшно завывая, запели «У це-е-еркви стоя-а-ала каре-е-ета-а», а где-то рядом Наташа с неожиданно бессмысленными, пьяными глазами кокетливо тыкала пальцем Лёне в грудь и не просила даже, а просто повторяла: «Потанцуем. Давай потанцуем», – а он улыбался и все отгораживался Мариной, держа ее, обмякшую, на весу. Потом кто-то спросил «а сколько времени?», и оказалось, что мы пропустили полночь, не заметили ее, но это никого не расстроило. «Проебали Новый год», – сказал Лёня, хлопнув себя по бедру, и мы еще хохотали, и чокались, и пили, и Мишка, спотыкаясь, уже нетвердой походкой направился к дому, а папа вдруг сказал: «А какого черта мы одни празднуем? Нехорошо как-то», – и мы тут же вспомнили про доктора, про Семёныча, про Калину-жену и ее маленького, похожего на черепаху мужа и засобирались.

– Пойду еще спирта зацеплю, что ли, – объявил Лёня. – Нехорошо с пустыми руками. Заодно павшего бойца уложу, – и, подхватив Марину на руки, понес ее

в дом.

– Лёнька, черт, нельзя тебе тяжести!.. – смеясь, вслед ему прокричал папа, а Ира сказала удивительно трезвым голосом:

– Я не пойду. Останусь тут с этими пьяницами, надо же кому-то детей покараулить. Пошли, Антошка. Даша, идем, – и увела зевающих малышей.

А мы остались снаружи, и Сережа прижал меня к себе и жарко, пьяно зашептал мне «вот видишь, все хорошо, все будет хорошо», и мы даже немного покачались с ним, обнявшись, словно боясь остановиться, затормозить этот сплошной поток непрочной, хрупкой радости, а потом дверь распахнулась, и на улицу вывалился расхристанный Лёня, размахивая бутылкой, и мы двинулись в темноту, к озеру, оставив за спиной догорающий костер.

Тишина навалилась на нас стремительно, не успели мы сделать и нескольких шагов. «Черт, а куда идти-то, не видно же нихера», – почему-то шепотом сказал Лёня и прыснул. Шатаясь и хихикая, как подвыпившие школьники, мы какое-то время двигались наобум в полной темноте, пока Лёня не поскользнулся и не выразился совсем уже непечатно; и тогда Сережа выудил из кармана продолговатый фонарик, выстреливший нам под ноги голубоватым холодным светом, и сказал незлобиво: «Ты бутылку-то не разбей, учись, буржуй, у настоящего охотника всегда с собой должен быть нож и фонарик», – на что Лёня так же весело зафыркал: «Охотник, бля, зверолов… слебо… следопыт…»; и они даже какое-то время шутливо боролись на бегу, не останавливаясь и ухая, а потом все-таки затихли и успокоились, и дальше мы зашагали уже медленнее, то и дело поднимая голову и глядя вверх, в усыпанное звездами, молчаливое небо, переполненные благодарностью за то, что мы живы, пьяны и не одиноки, и несем початую бутылку спирта на другую сторону озера, к таким же, как мы, живым, теплым людям.

Карабкаясь на противоположный берег, мы несколько раз упали в рыхлый, проросший кусачими черными сорняками снег. Помогая друг другу подняться, отряхиваясь, еще раз проверили, цела ли бутылка, – она оказалась цела, – и по этому счастливому поводу отхлебнули еще по глотку, а потом Андрей предложил: «А давайте машинки проверим?» – и вместо того чтобы завернуть к празднику, к избам, мы направились к перелеску, отделявшему этот прибрежный лагерь от дороги, по которой мы месяц назад приехали сюда, потому что именно там, у самой кромки леса, мы оставили свои машины под

присмотром наших соседей, не рискнув испытать на прочность недавно вставший на озере лед. Все они были на месте, все три: Лёнин пижонский «Лендкрузер», серебристый пикап Андрея и Сережин «Паджеро», плотно укрытые, прижатые к земле толстым слоем снега; и Лёня немедленно принялся смахивать этот снег, компактной лавиной сползавший ему под ноги, стараясь заглянуть внутрь сквозь покрытые ледяной коркой стёкла. «Ма-лень-кий», говорил он нежно, прижимая лицо к водительскому окошку; «ло-шад-ка моя», и от его дыхания на замерзшем стекле появлялись мгновенно снова индевеющие проталинки.

– Ну все, Лёнька, пошли, – сказал, наконец, Сережа нетерпеливо. – Спирт мерзнет, и мы тоже сейчас околеем.

Лёня неохотно повиновался, запечатлев на водительском окошке «Лендкрузера» последний мокрый поцелуй, и мы двинулись обратно по собственным следам, с каждым шагом проваливаясь в снег почти по колено. «Какого черта у них тут так темно, – ругался Андрей сквозь зубы, – посвети, Серёга», и Сережа добросовестно попытался попасть зыбким дрожащим кружком света нам под ноги, а когда это ему наконец удалось и мы снова оказались на утоптанной площадке перед двумя громадными избами и замешкались на мгновение, пытаясь вспомнить, в которой из них была устроена большая общая столовая, дверь ближайшей к нам избы неожиданно отворилась, и на пороге показалась едва различимая в темноте человеческая фигура.

– Стойте! – глухо крикнул стоявший в дверях человек и предупредительно вскинул руку ладонью вперед.

– С Новым годом! – весело заревел Лёня и поднял над головой бутылку спирта, но бледно-голубой кружок Серёжиного фонарика уже испуганно нащупал дверной проём, человека, стоявшего в нём, и вздрогнув несколько раз, прочно застыл прямо на его бледном, закрытом маской лице.

Человек зажмурился и поднес руку к глазам, загораживаясь от света.

– Стойте, – сказал он ещё раз, гораздо тише. – Не вздумайте приближаться.

Лёня опустил руку, и спирт тяжело плюхнул внутри бутылки.

– Доктор? Ты? – спросил он неуверенно, хотя было уже совершенно ясно, что это действительно доктор, который, несмотря на явно слепящий свет фонарика, словно приклеенный к его лицу, убрал ладонь, чтобы нам легче было узнать его, и произнес все так же глухо:

– Я боялся, что вы придете именно сегодня. Вам нельзя сюда, уходите.

– Что случилось?.. – спросил папа, как будто оставались еще сомнения, как будто маску, закрывающую это круглое знакомое лицо, и то, как тяжело, как нетвердо он стоял, с усилием упираясь плечом в косяк двери, можно было истолковать как-то иначе, по-другому.

Доктор махнул рукой.

– Идите домой, – сказал он. – Они меня не послушали. Я говорил, что нужен карантин, а они не послушали меня. Вам нельзя здесь. Вы ничем уже не поможете.

Мы стояли и смотрели на него, замершего в плену холодного голубоватого света, молча, со страхом, а потом Наташа резко, коротко вдохнула и сказала:

– Это нечестно. Нечестно, – и прижала руку ко рту, и отступила на шаг, и только потом заплакала.

А доктор еще раз махнул на нас рукой – прогоняющим, почти равнодушным жестом; видно было, что стоит он из последних сил, и мы попятились, повинуясь взмаху этой руки, а затем повернулись и двинулись прочь, не решаясь, не желая больше смотреть на него, чувствуя одновременно и мучительный стыд за свое поспешное отступление, и животный, инстинктивный ужас, гнавший нас как можно дальше от этого места. Когда мы были уже шагах в тридцати, он вдруг сказал что-то еще, только мы не расслышали его слов, потому что снег скрипел у нас под ногами, а кровь испуганно стучала в ушах; так что нам пришлось остановиться и развернуться к нему еще раз, и только тогда мы сумели разобрать, что он говорит – уже еле слышно:

– Важно… это важно… подождите… масок недостаточно, я ошибся… Это контактная, контактная инфекция, слышите?.. Нужны еще перчатки, обязательно перчатки, и не вздумайте возвращаться!..

И тогда мы побежали, увязая в снегу, жмурясь от хлещущих по лицу прибрежных сорняков, прямо на слабый свет нашего почти догоревшего новогоднего костра, и прыгающий, обезумевший кружок фонарика метался под нашими ногами. Мы бежали вместе и не вместе, по отдельности, в одиночку, не оглядываясь друг на друга, падая и поднимаясь, как звери во время лесного пожара, и последнее, что мы успели услышать сквозь громыхающий, оглушительный страх, было:

– …надо сжечь! Сжечь, слышите? Нельзя заходить!..

* * *

Первую неделю января мы провели, смотря в небо, – не сговариваясь, ничего не обсуждая. Казалось, на какое-то время мы вообще потеряли способность говорить, оглушенные единственной мыслью – безжалостная, неразборчивая чума догнала нас. В тот самый миг, когда мы поверили, что убежали достаточно далеко, она разыскала нас даже здесь, посреди засыпанного снегом леса без дорог, без человеческого жилья. Лениво протянула свой длинный отравленный язык и скользнула им по краю нашего маленького уязвимого убежища – легко, беспрепятственно, как будто в нашем бегстве с самого начала не было ни малейшего смысла, как не бывает смысла в отчаянных усилиях измученного, обезумевшего от страха грызуна, забавляющих его когтистого истязателя: я вас вижу, я знаю, где вы, мне ничего не стоит убить вас, вы ничего не сможете мне противопоставить, я вползу к вам с каплей воды, с порывом ветра, и вы даже не заметите, как ваша смешная, нелепая битва будет проиграна.

Из беглецов мы превратились в наблюдателей, беспомощных и пассивных, достигших точки, за которой ничего не осталось. Нам больше некуда было бежать, и теперь изо дня в день мы могли только следить за этапами жалкой и бессмысленной борьбы, происходившей на том берегу, в двух километрах от нас, гадая, сколько времени понадобится чуме, чтобы победить их, этих едва знакомых нам людей. Мы ничего не знали об их борьбе. Не знали, все ли они больны и сколько из них еще живы. Единственным свидетельством того, что борьба еще продолжается, служили едва различимые на фоне низкого серого неба столбы дыма, поднимавшегося из печных труб. Чтобы разглядеть берег, нужно было выйти из дома и пройти по вмерзшим в лед деревянным мосткам до самого края, туда, где густо растущие на острове деревья не загораживали обзора; и я не могу сосчитать, сколько раз за эти дни мы поодиночке, стараясь

не столкнуться друг с другом, подходили к этому краю и поднимали глаза вверх, потому что до тех пор, пока дым поднимался, еще можно было делать вид, что не всё кончено, что каким-то невероятным, неизвестным способом им удастся спастись, пусть не всем, пусть хотя бы кому-то из них. А потом наступил день, когда мы не увидели дыма, сколько бы ни вглядывались в мутный горизонт. И хотя это еще можно было объяснить себе – пасмурная погода, плохая видимость, сильный ветер, нужно подождать до завтра и попробовать еще раз, – дыма не было ни назавтра, ни еще через день. И берег, и небо над ним выглядели пусто и безжизненно, необитаемо. Обманываться не было больше смысла. Она победила, и мы остались одни.

Наверное, нам следовало сделать что-нибудь; что угодно, принятое в таких случаях. Мы могли выпить, не чокаясь, могли вспомнить их имена – те, что успели узнать, и произнести вслух. В конце концов, мы просто могли поговорить о них. Однако по какой-то странной причине мы не стали делать ничего. Напротив, мы перестали упоминать их совсем, словно их никогда не было. Словно вся эта маленькая колония, неожиданно вынырнувшая из небытия на самом краю нашего путешествия и спустя какой-нибудь месяц снова в него нырнувшая, оказалась не более чем галлюцинацией, померещившейся нам где-то посреди испуганной кутерьмы последних проведенных в дороге дней, как если бы мы заснули где-то между Медвежьегорском и этим маленьким островом. Заснули и увидели сон, который уже закончился и о котором нет смысла вспоминать. Весь следующий месяц мы просто существовали – вяло, апатично, молча, открывая рот только затем, чтобы произнести простые слова, касающиеся маленьких ежедневных будничных дел, не думая о будущем, не строя планов, истощая скудные запасы еды, теряя силы. Только в день, когда оказалось, что еды почти не осталось, а точнее – позже, ночью, когда мы с Сережей сидели на обледеневших деревянных мостках, и он произнес «нам нужно сходить на тот берег», а я ответила быстро, быстрее, чем успела обдумать его слова – «нельзя», реальность вдруг почти осязаемо перестала двоиться и совместилась, встала на место, как будто рассеялся хмель, как будто со щелчком закрепилась наконец нужная линза в медицинской оправе, и стали видны все строчки проверочной таблицы на противоположной стене.

В этой настоящей реальности, которую мы все неожиданно осознали, на том берегу стояли два огромных бревенчатых дома, доверху забитых мертвецами, и как бы мы ни выкручивались, рано или поздно нам обязательно нужно было перейти озеро и войти туда, и обыскать каждый угол, собирая все, жизненно нам необходимое – крупу, консервы, лекарства, оружие, топливо и множество полезных мелочей, о которых мы не подумали, собираясь в дорогу, которыми не

успели запастись сами.

Сережина идея не вызвала споров. Наутро после ночного разговора, перед тем как уйти с Мишкой на озеро проверять сети, он сказал спокойным, будничным голосом, как будто это не мы целый месяц притворялись, что на том берегу нет и не было никаких домов, как будто весь этот месяц мы только и делали, что обдумывали способ, надежный и безопасный, проникнуть туда и не заразиться:

– Если надеть маски и перчатки, если ничего не трогать голыми руками, я думаю, ничего не случится.

И папа, быстро вскинув голову, подхватил:

– Перчатки, в конце концов, можно сжечь.

А Ира сказала:

– Вот еще, достаточно просто прокипятить, разведем костер на улице, согреем воды в тазу, консервы на всякий случай можно еще спиртом…

Это даже не было похоже на начало разговора, на самое первое обсуждение предстоящей опасной вылазки. Напротив, все выглядело так, словно решение уже принято и осталось только договориться о деталях. Тем более странно, что после такого оживленного, полного идей утра ничего, по сути, не изменилось, потому что ни назавтра, ни через неделю этот сложный план, включающий все возможные меры предосторожности, так и не был осуществлен.

Мы тянули. Даже после того, как закончились консервы. И потом, когда не осталось ни крупы, ни макарон; когда кончился чай. Даже когда нам почти полностью пришлось перейти на рыбу, а ее было мало, и в некоторые дни не было вовсе; когда подошли к концу запасы сухого молока, когда мы все, даже дети, могли позволить себе есть только один раз в день, и порции стали совсем крошечными, – мы тянули время, потому что между обсуждением этого плана, с которым никто не спорил, с которым все были согласны, и его выполнением существовала огромная разница, заключавшаяся в том, что говорить о необходимости перейти озеро можно было сколько угодно, а вот сделать это на самом деле оказалось невероятно, нечеловечески страшно. Это был еще не голод, хотя Псу не доставалось уже почти ничего, кроме самых несъедобных

и жестких рыбных очистков, и он проглатывал их, не жуя, а затем тяжелым неприятным взглядом провожал каждый съеденный нами кусок. Я боялась, что в какой-нибудь момент он не выдержит и сделает что-нибудь такое, из-за чего все остальные перестанут ему доверять. Я не дам тебя съесть, думала я. Ты мне нужен, даже не знаю зачем, но ты мне нужен. Нам бы только дотянуть до весны. Это был еще не голод, не настоящий голод, хотя дети стремительно становились прозрачными и сонливыми, словно повинуясь какому-то встроенному закону сохранения энергии; хотя мы, взрослые, уже начали терять в весе – у Мишки запали щеки и ввалились глаза, и даже Лёнин громадный живот существенно уменьшился в размерах, угрожая вот-вот превратиться в пустую складку кожи; хотя каждое утро, когда я чистила зубы жесткой, смоченной в теплой воде щеткой, на снегу оставались теперь розоватые следы, а во рту – привкус крови. Несмотря на все это, мы еще не начали голодать по-настоящему, у нас еще оставалось время.

Февраль почти закончился, и хотя мороз, сжимавший наш хлипкий дом со всех сторон, нисколько не ослаб, дни стали заметно длиннее; и мысль о том, что мы все-таки протянули целый месяц на жалкой кучке консервов и свежей рыбе, позволяла нам всякий раз откладывать неизбежный пугающий поход на ту сторону еще на неделю вперед, еще на несколько дней. На потом, когда сети снова окажутся пустыми. Когда случится что-нибудь еще, не оставив нам другого выбора. И, просыпаясь каждое утро, я по-прежнему отсчитывала вслух – двадцать шестое февраля, двадцать седьмое. Скоро весна, мы дотянем, мы сможем дотянуть, нам не придется туда идти.

В то утро я проснулась и поняла, что не знаю, какое сегодня число. Сережа был уже одет и возился с термосом, наливая согретый на печи кипяток. В последние дни я перестала чувствовать, как он поднимается с кровати, как с облегчением распрямляется ее продавленная сетка, потому что спала теперь крепче и тяжелее, чем раньше, иногда даже пропуская момент, когда он уходил, когда все они уходили, оставив меня наедине с этими женщинами. Которые и теперь, после двенадцати дней пути и трех месяцев неуютной и тесной жизни здесь, на озере, оставались такими же чужими, как в первый день. Которые не были мне нужны – не были бы, если б не это невыносимое одиночество, падающее на меня сверху в миг, когда за Сережей, Мишкой и папой закрывалась дверь, и отпускающее только в момент их возвращения; если бы не этот нестерпимый обет молчания, словно висящий над моей головой, делающий меня невидимкой. У них были спасительные, объединяющие хлопоты вокруг детей, и казалось, это вынужденное соседство не доставляет им никаких неудобств; они говорили – принеси воды, подбрось дров, посмотри в окно, не идут еще? Они не стали

подругами, я видела, что не стали, но это совершенно им не мешало; я же чувствовала себя попавшей в детский сад, куда меня определили в середине года, когда все уже знакомы друг с другом, а я лишняя, я одна, и даже если попытаться подойти и присоединиться к чужой непонятной игре, меня все равно не примут, на меня просто не обратят внимания. Больше всего мне хотелось забиться в угол и молчать, или спать весь день, или уйти в лес и не возвращаться, пока не вернутся мужчины. Я даже пыталась ходить с ними на озеро, но с первого же дня поняла, что не справляюсь, что мне холодно, что я мешаю Сереже своими жалобами. Мне не было места нигде.

Поэтому, проснувшись, я вначале испуганно нашарила его глазами и, только убедившись, что он еще здесь, что я еще не одна, спросила:

– Какой сегодня день?

Сережа обернулся.

– Я не помню, – сказала я. – Високосный год или нет?

– Черт его знает. – Он пожал плечами и снова наклонился над термосом. – Какая разница?

Мне хотелось сказать: «Большая, большая разница!» – потому что это было важно – знать, какое сегодня число, двадцать девятое февраля или первое марта. Но я ни за что не сумела бы объяснить ему, он не услышал бы. У него был термос, который нужно наполнить кипятком, его ждали сети, покрытые ледяной коркой, а у меня впереди – пустой бессмысленный день, еще один из целой череды таких же, только теперь я даже не знала, какой он по счету, и этого уже нельзя было вынести. Сережа завинтил наконец крышку термоса и позвал:

– Лёнька! Всё готово, ты идешь?

Из-за тонкой перегородки, разделявшей комнаты лишь наполовину, раздался Лёнин зычный зевок, яростно заскрипели пружины. Я смотрела в Сережину спину и знала, что он уже не обернется. Подхватит сейчас свой термос и выйдет за дверь. Подняв голову, он прислушался к звукам за перегородкой и начал было еще раз:

– Лёнька… – но не успел закончить фразу, потому что низкая, ведущая на улицу дверь распахнулась, и в проеме появилось растерянное Мишкино лицо.

Мишка обвел нас глазами и сказал, обращаясь, как мне показалось, только к Сереже:

– Там дым.

– Где – дым? – переспросил Сережа удивленно.

– На том берегу, – ответил Мишка. – Там дым, понимаешь? – И, не сказав больше ни слова, убрал голову и захлопнул входную дверь.

* * *

Столб дыма – густой, похожий на толстый восклицательный знак, – вызывающе тянулся вверх над растущими на берегу деревьями, распадаясь на отдельные темные облачка уже где-то совсем высоко; погода была безветренная. На узких мостках, жалобно прогнувшихся под нашим весом, места для всех не хватило. Сережа, выбежавший первым, стоял возле самого края, напряженно вглядываясь вперед – туда, где, плотно укрытые лесом, прятались от глаз бревенчатые избы наших мертвых соседей, где стояли наши засыпанные снегом машины и где – мы знали точно – уже полтора месяца не было ни единой живой души. После Мишкиных слов мы все почти одновременно вскочили и бросились к выходу, на бегу набрасывая одежду. Выбегая из дома, уже в дверях я столкнулась с папой, почему-то спешащим назад; лицо у него было напряженное, он почти сердито отпихнул меня, ворвался внутрь и немедленно принялся громыхать чем-то в сумрачной глубине комнаты, и появился на улице только после, когда мы уже толпились снаружи, толкаясь на тонком дощатом помосте, опоясывающем дом, дыша друг другу в затылок.

– А ну-ка, – раздался его хмурый голос где-то позади меня.

Работая локтями, он начал прокладывать себе дорогу вперед, к внешнему краю мостков, и наша неустойчивая толпа вздрогнула и рассыпалась, освобождая ему проход.

Из-за спин мне не было видно ничего, кроме дыма. Я хочу увидеть берег, подумала я, хочу увидеть – что там, и даже встала на цыпочки, вытянув шею, но уперлась взглядом только в массивные Лёнины плечи.

– Отойди-ка, Мишка, – деловито сказал папа, и тонкая узкоплечая фигурка сразу же послушно, с готовностью качнулась назад, едва не сбив меня с ног.

Быстро протянув руки, я обхватила его, чтобы он не свалился с мостков, и снова, в который раз, удивилась тому, какой он худой и твердый, как ломкое молодое дерево. За несколько проведенных на озере месяцев он как будто вытянулся вверх и высох, отросшие спутанные волосы уже падали ему на глаза, только он не позволял мне подстричь их. Он вообще ничего теперь не позволял мне, занятый серьезными мужскими делами; его больше нельзя было трогать руками, тормошить, его даже почти невозможно было заставить мыться, и он уже начал пахнуть козленком, мой мальчик, мой незнакомый маленький сын. Мишка нетерпеливо стряхнул мои руки и попытался было снова нырнуть назад, в толпу, но я схватила его за рукав.

– Что там? – спросила я. – Ты видел что-нибудь? – И тогда он повернул ко мне возбужденное, почти радостное лицо и ответил:

– Дым, мама! Дым! – как будто удивляясь тому, что я не радуюсь вместе с ним.

– Кто-то выжил, да? – растерянным, тонким голосом спросила Марина (кажется, уже не в первый раз). – Получается, кто-то все-таки выжил?..

Этого не может быть, подумала я. Мы смотрели в небо каждый день, здесь просто некуда больше смотреть, мы бы заметили.

– А полтора месяца этот кто-то святым духом там грелся? – рявкнул папа раздраженно.

Он уже добрался до края мостков и стоял теперь рядом с Сережей.

– Не говори ерунды. Это кто-то другой. Кто-то новый. И этот кто-то, – продолжил он после паузы, – уже знает, что мы здесь.

Обернувшись к нам, папа поднял руку, показывая в небо над нашими головами. Мы невольно расступились и посмотрели вверх, уже понимая, что? там: пусть и не такой же густой и черный, но поднимающийся так же высоко, выдающий нас с головой дым из нашей собственной печной трубы. Поэтому, пока остальные стояли с задранными к небу лицами, я взглянула на папу и поняла наконец, зачем он возвращался в дом. Во второй, свободной руке, стволом вниз и чуть в сторону, он держал свой тяжелый длинный карабин, и стоило мне увидеть этот карабин, в животе у меня нехорошо, неприятно заныло.

– Что будем делать? – спросил, наконец, Лёня.

Папа пожал плечами.

– Ждать, – сказал он просто. – Идти туда незачем. Мы не знаем, кто они, не знаем – сколько их. На берегу у них преимущество, а сюда, на остров, незамеченными они не доберутся. Будем дежурить по очереди, чтобы не было сюрпризов. Рано или поздно они придут к нам сами.

– Или не придут, – сказал Сережа, и все обернулись к нему. – Если они сунулись туда без защиты, через пару дней уже некому будет приходить.

Мы не подумали только об одном, и это стало ясно почти сразу после того, как мы вернулись в дом: в отличие от людей, появившихся на том берегу, мы не могли ждать бесконечно. У нас просто не было такой возможности теперь, когда не осталось ни консервов, ни круп, а обе наши сети, приносившие ежедневно горстку тощей рыбы, ждали посреди озера, закрепленные на самодельных деревянных треногах. С края мостков можно было разглядеть их, чернеющих посреди льда в нескольких сотнях метров от острова. Добраться туда, не рискуя быть замеченными, нам ни за что бы не удалось.

– Самое позднее завтра нам придется проверить сети, – сказал Сережа, когда они сидели с папой у колченогого стола, разложив по нему весь небольшой арсенал, имевшийся у нас с собой: три Сережиных ружья и папин видавший виды, поцарапанный «Тигр». Мишка караулил снаружи, и через мутное оконное стекло я видела его разочарованный тощий силуэт; он отчаянно требовал выдать ему одно из ружей, но вместо этого папа сунул ему бинокль («Твое дело – предупредить, глаза у тебя молодые, смотри в оба, два километра открытого пространства, увидишь что-нибудь – что угодно – стучи, понял?»).

В комнате резко, вкусно пахло ружейным маслом.

– Как на ладони будем, – с досадой возразил папа.

– Нам нельзя без сетей, – сказала Ира.

Она сидела на Наташиной кровати, крепко обнимая обеими руками мальчика, который смотрел на лежащие на столе ружья с восторженным, жадным интересом.

– Нельзя без сетей. Детям нужно есть, нам всем нужно есть.

Мы помолчали. Наконец, папа поднял карабин и посмотрел в окно через длинный, похожий на подзорную трубу оптический прицел.

– Есть одна идея, – сказал он. – Серёга, пойдем-ка, крышу посмотрим.

Спать мы легли рано, но кроме негромкого сопения детей и треска дров в печи, в темном доме не было в эту ночь ни одного привычного звука, словно все лежали без сна, неподвижно, и смотрели в темноту. Настороженная тишина нарушалась только негромким скрипом входной двери: мужчины сменяли друг друга каждый час, потому что снаружи, на морозе, дольше было просто не выдержать. Мучительно, как всегда, хотелось есть, но есть теперь хотелось постоянно, и гораздо мучительнее оказалось это пассивное, вынужденное ожидание. Почему они не пришли сегодня? Чего они ждут? Кто они вообще, эти люди, появившиеся в тот самый момент, когда мы уже почти поверили, что остались здесь одни, что больше никто не придет?

Они не пойдут ночью, думала я, ворочаясь на жестком матрасе. Никто не пошел бы ночью: они не знают озера, окна у нас не горят, дыма в темноте не видно. Они заблудятся и ни за что не выйдут к острову, они будут ждать до утра и пойдут только потом. И еще я думала: что, если они вообще не придут? Если они так же, как мы, затаились на своем берегу и так же не спят сейчас, ожидая нападения, потому что это единственное, чего мы можем ожидать теперь друг от друга. Что мы будем делать тогда?

Наверное, я все-таки заснула ненадолго, на какое-то мгновение закрыла глаза и открыла их, когда уже рассвело. В комнате никого не было. На печи, булькая, кипела вода в эмалированном чайнике, снаружи раздавались негромкие голоса. Что-то глухо стукнуло по дощатой стене дома и сразу после тяжело зашуршало, поползло по крыше вниз, грузно ухнуло и залепило снегом маленькое подслеповатое окно. Я сунула ноги в ботинки, надела куртку и вышла за дверь. Все они были там. Сережа с Андреем держали шаткую, криво сбитую деревянную лестницу, по которой папа, цепляясь своими огромными валенками за каждую надтреснутую ступеньку, лез на крышу. Карабин болтался у него на спине, лестница жалобно скрипела, с крыши градом сыпался вниз потревоженный снег. Внизу, в отчаянии заламывая руки, метался Мишка.

– Давайте я! – умолял он, видимо, уже не в первый раз. – Ну давайте я!..

– «Я» – последняя буква алфавита! – донеслось сверху, и в то же мгновение прямо Мишке под ноги рухнул неровный лист серого ломкого шифера. Ударившись в опоясывающий дом деревянный помост, он раскололся на несколько частей.

– Андреич! – заорал Лёня, подходя. – Песок из тебя сыплется! А то давай, может, я залезу?

– Я тебе залезу, – ворчал папа с крыши. – Тебя еще три месяца на голодном пайке держать, вот тогда полезай.

Я оглянулась к Лёне. Он стоял, задрав голову, и дурашливо, весело орал что-то еще, но глаза его не улыбались. Присмотревшись, я вдруг поняла, что все они – и Андрей, и Сережа, и танцующий под лестницей Мишка – напряжены и сосредоточены, что за спиной у каждого – ружье, и что даже стоят они так, чтобы ни на мгновение не выпустить из вида противоположный берег и плоскую ледяную поверхность озера. Я спрыгнула с мостков в снег и отошла на несколько шагов, чтобы видеть крышу. Папа уже успел взобраться на самый верх и сидел теперь прямо на ее пологом коньке, широко расставив ноги. Повернувшись, он поймал мой взгляд и улыбнулся.

– Анюта, – попросил он, – принеси-ка мне термос с кипяточком. Там на печке чайник. Вскипел уже, наверное.

Мне до смерти не хотелось уходить сейчас, так и не узнав, что происходит, что? именно они задумали, но я не рискнула спорить с ним и послушно направилась в дом. Я спрошу, сейчас выйду и спрошу. Весь этот театр рассчитан на детей, чтобы их не пугать; они не ели уже целые сутки и вчера весь вечер ныли и нервничали. Сняв чайник с огня, я нашла термос, налила в него кипяток и поспешно выскочила на улицу. Меня не было от силы несколько минут, но, едва оглядевшись, я поняла, что опоздала с вопросами, потому что Сережа, Андрей и Лёня были уже далеко, метрах в пятидесяти от берега. Я видела их удаляющиеся спины. Они шли небыстро и настороженно, три отчетливые темные фигуры на белом и рядом – желтая четвероногая тень. Я испуганно поискала глазами Мишку. Он был здесь, возле лестницы, его не взяли, слава богу, они его не взяли, и тогда я снова спрыгнула с мостков и крикнула вверх:

– Куда они?.. Папа!

Он лежал теперь на животе, упираясь в крышу локтями, и удобно пристраивал свой длинный карабин на двуногий металлический упор. Не поворачивая головы, он сказал:

– Мишка, возьми у мамы термос, – и протянул руку, словно ожидая, что между этим его приказом и моментом, когда термос окажется наверху, пройдет не больше секунды.

Мишка поспешно отскочил от лестницы, как резиновый мячик, бросился ко мне и схватился за ремешок термоса. Только я не разжала пальцы и спросила еще раз, уже у него:

– Куда они?

– Так сети же, – сказал Мишка нетерпеливо. – Сети забрать.

Он дернул за ремешок и взлетел по лестнице вверх, разбрызгивая прилипший к ботинкам снег.

– Все нормально, Аня, – раздался сверху папин голос. – Тут метров пятьсот, не больше. Дальше они не пойдут, а я за ними послежу, мне отсюда хорошо видно.

– Не волнуйся, мам. – Мишка уже спускался обратно. – Им просто сети забрать, это быстро. Просто забрать. Куда мы без сетей.

Как я могла пропустить момент, в который мы поменялись местами, думала я, сидя возле Мишки на мостках и вглядываясь в слепящую белизну. Вот – три темных силуэта; на этом расстоянии уже невозможно определить, кто есть кто. Вот, впереди, чернеют вмерзшие в лед деревянные опоры, на которых висят наши сети, а дальше, за ними, чуть наискосок – обломки каких-то приспособлений, обычный озерный мусор, оставшийся после наших соседей, опрокинутая на бок металлическая бочка и пара разломанных ящиков. Черная полоска леса на той стороне. Уверенный, широкий столб дыма. И две – нет, три незнакомые человеческие фигуры, отделившиеся от темной береговой линии.

Не помню, кто из нас увидел их раньше. Знаю только, что едва успела вскочить на ноги, думая – закричать? Молча бежать вперед, чтобы предупредить Сережу? Я пробежала бы эти триста – четыреста метров быстрее, чем люди, идущие к нам с того берега, даже если бы они заметили, что я бегу; они были пока слишком далеко. Я не крикнула и не побежала, я просто не успела, потому что Мишка вскочил и, сунув два пальца в рот, свистнул – оглушительно, так, что у меня заложило уши, я и не подозревала, что он умеет так свистеть; и в ту же самую минуту что-то загрохотало над нашими головами и звучно шлепнулось к нашим ногам – термос с полуотвинченной крышкой, из которого дымящимися толчками потекла горячая вода, и снег вокруг немедленно подобрался и съежился, словно внутри стеклянной колбы был не кипяток, а кислота.

– Аня, – прозвучал сверху папин голос прямо мне в затылок, так близко, будто папа стоял у меня за спиной. – Девочки, берите детей и марш в дом.

Краем глаза, потому что отвести взгляд от озера было нельзя (они услышали свист? услышали или нет?), я увидела длинный матовый ствол карабина, торчащий над невысоким коньком крыши причудливым, зловещим флюгером, и открыла рот, чтобы сказать папе, лежащему на крыше: стреляйте, ну стреляйте, чего вы ждете? Мы ничего не знаем об этих людях; зачем они здесь? Что им здесь нужно? Мне все равно, даже если они не хотят плохого; там Сережа, я не знаю, услышал ли он, как Мишка свистнул. Что, если звук отнесло ветром? Мне все равно, стреляйте. Пусть они остановятся, пусть уйдут.

– Далеко, – сказал Мишка севшим, незнакомым голосом, и я поняла, что это больше не мысли у меня в голове, что я говорю вслух.

– Далеко, – повторил он, не оборачиваясь ко мне. – Рано стрелять, они должны подойти поближе.

– Марш в дом, я сказал! – заревел папа, и за нашими спинами сразу затопали по мосткам торопливые шаги, стукнула дверь.

– Я не пойду, – отрезал Мишка, все еще не оборачиваясь, и поднял висевший на шее бинокль.

Глаза у него слезились от ветра, щеки горели красным. У меня здесь нет младенцев, которых нужно спасать, подумала я. Только этот упрямый шестнадцатилетний мальчик, которого я не смогу затащить внутрь, даже если попытаюсь сделать это силой.

– Я тоже не пойду, – сказала я. – Дай мне бинокль, слышишь? Быстро! – И, протянув руку, рванула ремень.

Мишка взглянул на меня, совсем коротко, и не стал спорить. Неожиданно покорно нагнул голову и позволил биноклю соскользнуть.

Замерзшим металлом обожгло кожу; картинка дрогнула и расплылась, мечась по пустынной, белесой ледяной равнине. Видно было только снег, редкие черные кусты, неровную цепочку следов, я их не вижу, черт, я не вижу. И тут я увидела. Они еще не добрались до сетей, еще продолжали идти вперед, и я даже подумала было, что Мишке нужно свистнуть еще раз, что они его не услышали, но тут Сережа (теперь я точно знала, кто из них Сережа) снял ружье с плеча. Зачем они идут? Им надо бежать обратно; почему они не бегут?

– Они встанут возле самых сетей, – зашептал Мишка, – дальше не пойдут, так и надо, мам.

И тогда я поняла, что это и был их план, поняла их напряженные, сосредоточенные лица. Они знали, что стоит им выйти на лед, те, другие, тоже покажутся.

Я смотрела сквозь примерзающий к щекам бинокль на медленное, бесконечно медленное сближение. Три черные фигуры с одной стороны озера, три –

с другой, словно за ночь кто-то незаметно расположил посреди пейзажа огромное зеркало. Потом мне пришло в голову еще одно, такое же странное сравнение – больше всего они напоминали сейчас опасливо, неохотно сходящихся дуэлянтов. Хотела бы я знать, понимают ли те, другие, где именно проходит линия, невидимый барьер, за которым до них дотянется папин карабин. Я увидела, что Сережа дошел наконец до деревянных опор с висящими на них сетями и остановился, что Лёня с Андреем встали возле него, что даже Пёс, про которого я совсем забыла, на которого даже не смотрела, замер и больше не двигается. Что чужие трое – все мужчины – какое-то время еще продолжают идти вперед, а потом все-таки понимают что-то и останавливаются тоже, и долго, несколько нестерпимо длинных минут стоят неподвижно, словно думая, что им делать дальше. Они не подойдут, думала я, не сделают больше ни шагу. Ни те, ни другие. Просто будут стоять вот так и смотреть друг на друга, и единственным результатом этого жуткого утра будут сети, которые, судя по всему, удастся-таки спасти, но мы так и не узнаем, кто эти люди с той стороны, и каждую ночь будем ждать их возвращения, только теперь они будут осторожнее. И тут я увидела, как Сережа медленно поднимает вверх руку и машет, а затем, нагнувшись, кладет ружье в снег и, сложив ладони рупором, кричит – не нам, а тем, другим, – что-то неслышное, потому что слова его немедленно сносит ветром, и делает еще несколько нерешительных шагов вперед. Чтобы поймать в фокус ту, вторую группу, мне всякий раз нужно метнуться взглядом, сдвинуть кадр, и несколько панических секунд я боюсь, что потеряла их, что пропущу какое-нибудь важное движение, как будто от меня зависит что-то. Как будто пока я смотрю – пристально, не отводя глаз, – ничего плохого не может случиться. Вот они, незнакомые трое, всё еще неуверенно топчутся на одном месте, а потом один из них все-таки тоже поднимает руку и, освободившись от своего оружия, идет к Сереже.

Вот сейчас он, наверное, уже перешел линию, подумала я, разглядывая хорошо различимое теперь лицо незнакомого человека, закрытое черным военным респиратором; но в руках у него ничего нет, и стрелять сейчас папе ни к чему. Кроме того, судя по всему, человек догадался, что эта линия, за которой он был в безопасности, существует, и что теперь она пройдена, потому что старался все время встать таким образом, чтобы между ним и островом оставался Сережа. Я смотрела, как они разговаривают, как неширoко, аккуратно жестикулируют, как оборачиваются и смотрят в нашу сторону, как чуть позже к ним подходят остальные – Лёня и Андрей, и двое с той стороны. Я не знала, много ли прошло времени – десять минут или полчаса, и даже когда разговор, очевидно, подошел к концу, когда троица в камуфляжах и респираторах развернулась и отправилась к своему берегу, и потом, пока наши вынимали сети, пока шли

назад, я все стояла, прижав бинокль к лицу, боясь пошевелиться. А насколько окоченели пальцы, державшие бинокль, – до какой-то неживой, стеклянной хрупкости – почувствовала уже после, когда Сережа шагнул на берег и сказал: «Мишка, сеть перехвати, надо повесить, запутается».

Позже, дома, папа кричал Сереже:

– Другой был уговор! Другой! Какого черта ты поперся вперед? Они должны были дойти до бочки, надо было ждать, пока они сами не подойдут!

– Не подошли бы они, – устало отбивался Сережа. – Ты же сам видел, не собирались они подходить.

– Ну и не подошли бы!

Папа выглядел плохо, лицо у него было серое, покрытое болезненной перламутровой испариной.

– С ними надо было поговорить, – сказал Сережа. – Нам не нужна здесь война. А если б ты выстрелил в бочку, они бы тоже начали палить.

– Они с калашами, все трое, Андреич, – примирительно вставил Лёня. – Куда нам против них с охотничьими ружьями. Из этих троих только у одного черта рожа умная, а двум другим думать нечем. Услышали бы выстрел – и разбираться бы не стали, в бочку, не в бочку. Постреляли бы нас, как зайцев.

В стену дома постукивали вывешенные снаружи, постепенно застывающие на морозе сети, из которых никто еще не успел выбрать скудный улов этого дня, а мы сидели внутри, стараясь держаться поближе к печке, медленно оттаивая, отогревая застывшие руки чашками с дымящимся кипятком, и никак не могли согреться. Как только наступила первая пауза в разговоре, Наташа грохнула чайником по закопченной чугунной крышке печи и спросила:

– Ну что – вы закончили? А то, может, нам еще подождать? Кто-нибудь собирается рассказать, что там вообще произошло?

– Ну, как… – начал Лёня и посмотрел на свои руки.

Чашка прыгала в них, как сумасшедшая, и он вдруг улыбнулся, не смущенно, а даже, пожалуй, весело; и я неожиданно поняла, что ему все это нравится: и прогулка с ружьями, и незнакомые «черти с калашами», осторожные разговоры посреди озера и даже собственный страх. На контрасте с усталыми измученными остальными Лёня – толстый шумный Лёня со своими плоскими шутками и пижонскими замашками – в самом деле получает удовольствие. Да что там. Он в восторге.

– Вот какое дело… – сказал Лёня тем временем и, нагнувшись, поставил чашку на пол, возле своих ног, а потом повторил задумчиво: – Вот какое дело… Они ни черта нам не отдадут. Ни еды, ни лекарств, ни топлива – ни чер-та, – и обвел нас взглядом, явно смакуя тишину и выражения наших лиц.

Видно было, что Сережа собирается что-то возразить ему, но он только поднял предостерегающе широкую, все еще слегка прыгающую ладонь и добавил:

– Я не говорю, что они так сказали. Я говорю, что я понял. Они сказали: мол, загрузили тела в «шишигу» и отогнали подальше. А остальное барахло, сказали, вынесли на улицу и сожгли. Барахло. Только одежка на них не очень по размеру, а?

– Да ладно тебе, – хмуро отозвался Сережа. – Он же вроде сказали, они погранцы, как Семеныч.

Лёня вдруг хихикнул – радостно, торжествующе, словно ждал именно этого возражения, а потом откинулся назад на скрипучей кровати и сложил руки на животе.

– Как они держали автоматы, видел? – спросил он, все еще улыбаясь. – Да ладно тебе. Ну какие из них погранцы. Они вообще не военные. Это зэки, Серёга. Может, я и не прав, просто разговор у них такой… в общем, я почти уверен, это зэки. У них никого с собой нет – ни семей, никого, только они трое. И если мы хотим хоть что-нибудь получить с того берега – это если они сами, конечно, от заразы там не помрут, – нам придется их перебить.

* * *

Не случилось ни того, ни другого. Видимо, нашим новым соседям просто не суждено было погибнуть ни от смертельно опасной зараженной среды, в которую они так беспечно вломились, ни тем более от нашей руки. Всю следующую неделю они деловито, весело копошились на том берегу, приводя в порядок свое новое хозяйство. Оказалось, что, усевшись на невысокой крыше нашего дома с биноклем в руке, все-таки можно разглядеть и широкие просторные избы, и пространство перед ними, и даже то место у самой кромки леса, где мы спрятали наши бесполезные теперь машины. Так что в свободное от рыбной ловли время кто-нибудь – чаще папа и Мишка, но иногда и остальные, – бывало, и по нескольку раз в день взбирался теперь наверх по шаткой деревянной лестнице, чтобы, вернувшись, рассказать нам новости. Жгут матрасы и постельное белье, говорил вернувшийся с крыши наблюдатель. Или: ковыряются с сетями, не похоже, чтобы они бы-ли опытные рыбаки. В один из таких дней Мишка скатился с лестницы поспешно, с грохотом, едва не поломав хлипкие, косо прибитые ступеньки, и, распахнув настежь входную дверь, возбужденно крикнул прямо с порога:

– Снегоход! У них снегоход!..

А чуть позже мы смогли убедиться в этом сами, потому что трое незнакомых мужчин, поселившихся теперь в двух километрах от нас, буквально на следующий же день принялись разъезжать на этом снегоходе по озеру открыто, и как оказалось, совершенно бесцельно, просто для забавы, нисколько не прячась от наших глаз. Один сидел за рулем, второй обычно стоял у него за спиной, а третий шел пешком, то и дело останавливаясь, пока двое ездоков нарезали вокруг него залихватские круги, вздымая клубы белесой снежной пыли.

– Это ж сколько у них бензина, у говнюков, – с яростным сожалением, зло сказал папа, наблюдая за этими нарочитыми, бессмысленными, бесшабашными играми. – Где ж они его взяли, хотел бы я знать.

У них был не только бензин. У них теперь было все, о чем мы могли только мечтать. Два, целых два огромных просторных дома, набитых полезными, незаменимыми вещами. У них были консервы и крупы, варенье и сахар, и оставшееся от погибших пограничников оружие, и прекрасные, надежные военные респираторы. И самые разнообразные рыболовные снасти, которые были им даже не нужны, потому что мы ни разу – ни разу – не видели, чтобы они ставили сети, им просто незачем было ловить эту проклятую, тощую зимнюю

рыбу. Им вообще ничего не нужно было делать, потому что наследство, свалившееся на них нечестно, несправедливо, случайно, обеспечило им верных несколько месяцев беззаботной сытой жизни, за которой мы наблюдали на расстоянии, завистливо и горько, проклиная себя за нерешительность, потому что только теперь нам стало ясно, какую бездарную, глупую, роковую ошибку мы совершили. Ведь достаточно было подождать неделю, максимум – две, а после мы просто обязаны были задушить в себе этот унизительный, тошнотворный, суеверный страх и пойти на тот берег, и взять все, что было так необходимо и нам, и детям – недоступное теперь и чужое, не наше.

На третий, кажется, день они зажарили козу. Я не знаю, как она умудрилась выжить в остывшем нетопленом доме, после того как его обитатели умерли и перестали ухаживать за ней, доить ее, следить за тем, чтобы у нее была вода и пища. Я вовсе ничего не знала о козах; никто из нас не знал. С крыши был виден только бесславный финал, легкомысленный шашлык, увенчавший ее короткую и бессмысленную жизнь. Им не было нужно ее молоко – к чему оно трем взрослым мужикам, питавшимся тушенкой и макаронами из бездонных, щедрых, буквально свалившихся им на голову запасов? Им не хотелось возиться с ней. Она была для них просто мясом, занятным разнообразием в рационе. Спустившись с крыши, Сережа сказал только «козу жарят», и хотя мы ни разу ее не видели, не имели ни малейшего представления о том, пестрая она или белая, сердитая или дружелюбная, все мы разом представили себе ее освежеванной, насаженной на вертел оскверненной тушкой, и невозможно было не чувствовать горечи и бессильного сожаления, потому что мы, конечно, отнеслись бы к ней, к этой безымянной козе, совершенно иначе. Просто нам не предложили такого выбора.

Несмотря на все это, мы ничего им не сделали. Мы даже не строили таких планов, невзирая на Лёнино незнакомое, неприятное и, пожалуй, пугающее оживление, с которым он нет-нет да и заводил эти странные, повисающие в воздухе разговоры о том, что их всего трое, что нельзя позволить каким-то пришлым сомнительным мужикам так нагло, так незаслуженно пользоваться всем, что осталось на том берегу и в чем так сильно нуждались мы сами, чтобы безболезненно дотянуть до весны; только разговоры эти так и не получили поддержки. Это было дико даже представить, не говоря уже о том, чтобы хладнокровно и неторопливо придумать и привести в исполнение какой-то план, какой-то спокойный, безличный способ расправиться с этими пришлыми, чужими мужчинами, о которых мы ничего не знали и которые, в сущности, ничего еще не сделали нам плохого – кроме, пожалуй, того, что оказались смелее, расторопнее и удачливее нас.

Совершенно очевидно, им хватило осторожности, чтобы сделать противоположный берег снова пригодным для жизни, избавиться от тел, сжечь все, что нужно было сжечь, и при этом не заразиться, потому что прошла уже неделя с момента, когда мы впервые увидели дым, а они всё так же бодро, жизнерадостно разгуливали с той стороны, живые и невредимые, а мы наблюдали за ними в бинокль, сменяя друг друга, дежурили по ночам, ставили сети с другой стороны озера, и кто-то из мужчин, обязательно с оружием, всегда оставался теперь с нами, на острове, просто на всякий случай. И случай этот представился довольно скоро.

Они пришли на восьмой день, будто так же, как и мы, какое-то время просто наблюдали, выжидали какой-то негласно необходимый карантинный срок, в течение которого нужно было понять, безопасно ли дышать с нами одним воздухом, и, только убедившись в этом, признали нас годными для знакомства. Мы заметили их еще издалека. В то утро впервые выкатилось яркое, нежданное солнце, к середине дня бесследно растворившее серые низкие облака, которые три месяца плотной непрозрачной крышкой висели над нашими головами, и за которыми вдруг обнаружилось высокое и синее чистое небо, и немедленно стало легче дышать, и даже всюду проникающий жадный мороз как будто посторонился и отступил на время. Может быть, именно благодаря всему этому, увидев три темных силуэта на льду, на этой нашей нейтральной полосе, мы не испугались сразу и не предположили плохого, а просто наблюдали за их приближением скорее с любопытством, чем со страхом. Окажись в этот день на острове Лёня, возможно, этот визит не состоялся бы вообще или закончился бы какой-нибудь бессмысленной перестрелкой, предупредительными выстрелами в воздух, но Лёни не было. Еще утром он и остальные ушли на озеро, на другую его сторону, которую нам не видно было с берега, а с нами остался Андрей, вызывавшийся караулить чаще, чем другие. Рыбалка, судя по всему, вообще не очень-то ему нравилась, вся эта возня в холодной воде, долгие походы пешком туда и обратно, и он с удовольствием проводил время на крыше, защищенный от ветра огромной папиной плащ-палаткой, наброшенной прямо поверх толстой стеганой куртки, лениво постукивая по гулкому шиферу всякий раз, когда ему требовалось заново наполнить термос кипятком.

Я сидела возле окна, и поэтому, наверное, мы заметили их одновременно, я и Андрей. Их появление на льду само по себе ничего еще не значило, потому что мы видели их на озере и раньше. Они вообще не очень-то прятались, эти трое, упражняясь со снегоходом или исследуя остатки окаменевших на морозе рыболовных снастей, так что, прежде чем реагировать, надо было

присмотреться к ним, понять, что? именно они собираются делать. Я встала коленями на продавленный матрас, положила локти на подоконник и приготовилась ждать. Где-то за моей спиной Марина с раздраженным грохотом мыла посуду в эмалированном тазу, а Ира терпеливо, монотонно уговаривала хныкающих детей выйти на улицу. В последнее время они сделались невыносимы; им было скучно здесь, нестерпимо скучно без игрушек, без развлечений. Они то плакали, то дрались между собой, и требовали внимания, которое никто, кроме Иры, не готов был дать им, а потому они оба, и мальчик, и девочка, с какой-то цыплячьей настойчивостью следовали за ней всюду и больше всего мучили именно ее. Они даже тревожно стояли под дверью всякий раз, когда ей случалось выходить без них из дома; точно так же, как я следовала бы за Сережей, если бы могла себе это позволить здесь, на глазах у всех. Видит бог, я бы делала то же самое, если бы только было можно.

– Надо выйти погулять. – Ира повторила эту фразу, наверное, в третий или четвертый раз, с одной и той же убаюкивающей интонацией, заглушая их пронзительные, тонкоголосые протесты.

– Мы сейчас оденемся и пойдем, да? Будем лепить снеговика…

У нее, должно быть, нервы, как канаты, подумала я, морщась от этого непрекращающегося, сверлящего шума. Ровно в этот же момент Марина особенно яростно, железно громыхнула, и оборачиваться мне совсем расхотелось. Вместо этого я продолжила смотреть в окно, прислонившись лбом к холодному стеклу, и именно тогда, наконец, поняла, что трое мужчин на озере не гуляют бесцельно, а идут в нашу сторону, но прежде чем я успела сказать или сделать что-то, что угодно, Андрей, скорее всего, тоже это понял. Он не стал палить в воздух или кричать что-нибудь угрожающее, сложив руки рупором; на самом деле, он не стал делать вообще ничего – просто снова постучал по крыше, разве что чуть громче и настойчивее, чем обычно, и Наташа, выбежавшая было на этот стук, почти сразу вернулась обратно и передала нам:

– Там эти, трое… идут к нам. Надо бы за нашими сбегать, наверное?

Бежать было недалеко – требовалось просто спрыгнуть с мостков на лед и обогнуть остров. Сделав несколько десятков шагов вдоль его заросшего кривыми деревьями каменистого бока, щурясь от слепящей, сверкающей на солнце белизны, я сразу же увидела Сережу, Мишку и остальных: они были от меня метрах в трехстах, не дальше. Я не стала кричать, чтобы звук моего голоса

не отнесло ветром обратно, в сторону наших незваных гостей, и как-нибудь не настроило их на менее дружелюбный лад. Почему-то я была уверена в том, что идут они – вот так, открыто, не прячась, – совсем не случайно, и главное было сейчас не испортить ничего паникой и поспешностью, но тем не менее я не шла, а бежала, – так быстро, как только могла, обжигая легкие ледяным воздухом.

Мужчины сидели на корточках возле вынутых на лед сетей, издали напоминавших неопрятную кучу мокрых, выплюнутых озером водорослей, и кажется, как раз выбирали из них рыбу; все, кроме Лёни. Он-то и заметил меня первым, и поспешно дернул Сережу за рукав, и быстро, на ходу снимая ружье с плеча, зашагал ко мне еще до того, как остальные успели подняться на ноги. Поравнявшись со мной, он не остановился и даже ни о чем не спросил, а напротив – ускорил шаг, тяжело, шумно дыша и грузно топая, так что я не стала ждать, пока Сережа, Мишка и папа догонят нас (они бросили рыбу и сети и тоже побежали), а вместо этого, круто развернувшись, последовала за Лёней, на ходу пытаясь придумать слова, которые бы заставили его – не остановиться, нет, – но хотя бы отказаться от готовности выстрелить сразу, в первое попавшееся незнакомое лицо. Только он шёл слишком быстро, словно забыв об одышке и о дырке в животе, и я никак не могла нагнать его. К тому же, я совершенно не знала, что? именно буду ему говорить.

Чтобы вернуться на остров, надо было снова обойти его. Сережа оказался прав: камни, крепостной стеной наваленные по всему берегу, не позволили бы сделать этого ни в одном другом месте. Мы свернули – Лёня, а за ним и я – и на несколько десятков секунд оторвались от тех, кто спешил за нами. Мои отвыкшие от движения, слабые мышцы жалобно ныли, горло горело. Я, кажется, дышу уже громче, чем он, кто бы мог подумать, что он вообще способен так быстро бегать, этот толстый, массивный человек, несущийся вперед, как бульдозер, с каждым выдохом выбрасывая в морозный воздух мутное густое облако пара. Из-за его широкой спины мне никак не удавалось разглядеть, что там происходит, на берегу, но я должна была обогнать его, должна была попасть туда первой, пока он не сделал что-нибудь такое, что потом уже никак не получится исправить. Я протянула руку, и крепко вцепилась замерзшими пальцами в плотный край его зимней куртки, и рванула. От неожиданности он развернулся ко мне вполоборота, и тогда я увидела выражение его лица, в котором не было уже вообще ничего знакомого, оно было очень страшное, это лицо, и совершенно чужое. Мне немедленно захотелось разжать пальцы, и остановиться, и никуда больше не бежать, остаться здесь, просто переждать все, что обязательно сейчас произойдет. «Пусти», – приказал он резко и зло, но вместо того, чтобы исполнить его приказание, я зачем-то повисла на нем, как

клещ, задыхаясь, понимая, наконец, что? именно должна сказать ему: «У тебя охотничье ружье, и ты успеешь выстрелить раз, может быть – два, и необязательно вообще попадешь; ты один, а их трое», – но воздуха не было, и времени произносить все эти слова не было тоже, так что я просто яростно замотала головой. Свободной рукой (той, в которой не было ружья) он сгреб меня в охапку, тяжело, болезненно охнув, оторвал от земли и поволок дальше, вперед. Именно так, в неестественном, насильственном объятии, мы взобрались на берег. И немедленно поняли, что опоздали. Потому что трое незнакомцев в камуфляжах уже стояли там, на мостках, ведущих в дом, а единственным препятствием между ними и входной дверью была одинокая фигура Андрея. Лёня поставил меня на снег и перестал дышать.

Ружье висело у Андрея за спиной. Спустившись с крыши, он не снял его с плеча, как будто все время, в течение которого незнакомцы неторопливо переходили озеро, он просто стоял тут, на мостках, и ждал, пока они подойдут. Лицо у него было скорее удивленное, чем настороженное. Казалось, он даже собирался что-то сказать, как-то их поприветствовать, и меня мгновенно, неприятно кольнуло воспоминание – совсем свежее, соленое и страшное. Я быстро взглянула на Лёню и поняла, что он тоже сейчас вспомнил именно это – сумеречную лесную дорогу под Череповцом и четверых мужчин, лениво вышедших прямо из леса, и дурацкий разговор ни о чем, и то, как веселый человек в лисьей шапке, не переставая улыбаться, почти по-приятельски положил руку ему на плечо, легко развернул к себе и быстро ударил ножом в бок. А может быть, Лёня вспомнил об этом сразу же, как только увидел меня на льду, и все время, пока мы бежали назад, думал только об этом и ни о чем больше. Он стоял, широко расставив ноги, сжимая в руках ружье, и совсем не дышал. Он сейчас просто молча выстрелит в ближайшую к нам камуфляжную спину, поняла я, а потом в следующую, и с такого расстояния точно не промахнется, только третьего выстрела у него уже не будет, а он совсем не думает сейчас об этом, он вообще ни о чем сейчас уже не думает.

Я открыла рот, еще не зная, что? именно буду делать, не уверенная даже, что в этом остался хоть какой-нибудь смысл. Андрей уже заметил нас, увидел поднимающийся ствол Лёниного ружья, потому что выражение его лица изменилось, и три незваных гостя, стоявшие возле него на мостках, уже начали было оборачиваться назад, к озеру. Вот сейчас, подумала я, прямо сейчас, но тут дверь за спиной Андрея открылась, и в проеме показалась Ира – без куртки, в одном свитере, – и я услышала, как Лёня со свистом выпустил из легких воздух, потому что на руках у нее была девочка, Лёнина маленькая дочь, и в тот же самый момент тускло-черный масляный ствол резко нырнул вниз, опустился,

прижатый Сережиной ладонью. На берег уже поднимались папа и Мишка, а Сережа крепко обнял Лёню за плечо и громко, приветливо сказал прямо в камуфляжные спины:

– Здорово, мужики!

* * *

У него было странное имя – Анчутка. Он так и сказал: «Анчутка» – и широко, обезоруживающе улыбнулся, и протянул Лёне руку – ладонью вниз, и даже нетерпеливо потряс этой ладонью в воздухе, будто говоря – ну давай, пожми ее, чего ты ждешь, так что Лёне пришлось принять эту требовательную ладонь и сжать ее, а что еще ему оставалось. Я смотрела на него во все глаза, и потому перемены, случившиеся в его лице, были заметны мне отчетливо: пока он перекладывал ружье в левую руку, пока тянул вперед освободившуюся правую, ноздри у него по-прежнему были раздуты и дышал он все так же тяжело, больше всего напоминая в эту минуту остановленный на полном ходу поезд, но к моменту, когда их ладони встретились, это был уже прежний, знакомый Лёня, балагур и рубаха-парень, и вынужденное это рукопожатие неожиданно вышло сердечным, словно встретились старые добрые знакомцы.

Пока мы стояли снаружи, на мостках, он был единственным, кто представился, этот человек со странным именем. На самом деле, с момента, когда он обернулся и увидел нас, и до тех пор, пока мы не зашли в дом, только он один и разговаривал. Переходя от одного к другому, он протягивал руку все тем же непривычным, настойчивым жестом, повторял это непонятное слово и улыбался. Он был крупный, ширококостный, с большими обветренными ладонями, красноватым, покрытым оспинами лицом и не по-северному черными и блестящими, словно две маслины, глазами, и вел себя с нами, как дирижер, управляющий растерянным, несыгранным оркестром; и хотя я уверена, что мы вовсе не собирались приглашать их зайти, именно из-за него каким-то непостижимым образом мы все-таки оказались внутри сразу же, как только это знакомство закончилось. Кажется, он просто толкнул низкую дверь плечом и вошел, и никто из нас – даже Ира, стоявшая в дверном проеме прямо у него на пути, – не успел ни задержать его, ни возразить.

Уже внутри, в перетопленной душной комнате, он быстрым неуловимым движением снял с плеча автомат и, наклонившись, задвинул его под ближайшую

кровать, а затем отбросил расстеленный поверх кровати спальный мешок и сел на видавший виды полупрозрачный вытертый матрас – удобно, широко расставив ноги, чем немедленно напомнил мне Семёныча, сидевшего на этом же самом месте с точно таким же выражением лица, и я почти готова была услышать «ну что, нормально устроились? печка не дымит?».

Вместо этого он сказал только:

– Смешной у вас дом, – и опять улыбнулся, и эта широкая, мальчишеская улыбка снова преобразила его до неузнаваемости.

Только после этого он снисходительно представил нам двух своих спутников. Маленький щуплый мужичок в тяжелой военной куртке, которая явно была ему велика, оказался Лёхой. Он все еще угрюмо и как-то неуверенно топтался возле самой двери и встрепенулся, только услышав свое имя; тогда он поднял голову и показал в улыбке тускло блеснувшие железом зубы. Второго, совсем молоденького, лет двадцати пяти, с ярким румянцем во всю щеку и густой, по-детски взлохмаченной шевелюрой, звали Вова. «Вова-хохол», – уточнил зачем-то человек, сидевший на Наташиной кровати, и продолжил: «Он у нас молодой, вы его не обижайте», – и коротко, беззлобно хохотнул, отчего румянец на Вовиных щеках сделался как будто еще пышнее.

– Ну что, может, чайку? – произнес затем наш незваный гость, явно не желая отказываться от своей ведущей дирижерской партии; тем более что никто из нас по-прежнему не был готов взять инициативу на себя.

– Чайку бы, а? – повторил он, размашисто опустил свои большие ладони на колени, туго обтянутые защитного цвета хлопком, и выжидательно огляделся.

– У нас не осталось чая.

Я сказала это совершенно неожиданно даже для себя самой.

– Он закончился. И кофе тоже нет. Если хотите – есть кипяток.

Тогда он повернулся ко мне и несколько секунд очень внимательно, без улыбки, разглядывал. Лицо у него было скорее некрасивое, даже неприятное, но глаза

оказались теплого, почти шоколадного цвета, обсаженные короткими густыми ресницами, и ничего зловещего в этом широком обветренном лице я не увидела, совершенно ничего. Потом он переспросил:

– Как – нет чая? Вообще нет? – и обернулся к юному смущенному Вове, и скомандовал: – Ну-ка, Вова, сгоняй за чаем, одна нога здесь, другая тоже!

Румяный Вова бросился к выходу – с готовностью, поспешно, едва не стукнувшись головой о низкую притолоку. Наблюдая, как он сражается с дверью, большой человек в камуфляже добавил:

– И к чаю чего-нибудь прихвати, детишкам, понял?

Кроме желтой картонной упаковки чая Вова принес еще огромную коробку, украшенную аляповатыми открыточными цветами. Под крышкой, в золотистых пластмассовых гнездах, дремали одинаковые, как патроны, полукруглые, чуть сплющенные с боков конфеты, отлитые из старого, будто подернутого сединой шоколада. При виде этих конфет рот немедленно наполнился горькой, тягучей слюной, и я тут же представила себе, как протяну сейчас руку и возьму ее, тяжелую и прохладную, и надкушу выпуклый подсохший бочок, еще не зная, какая именно начинка прячется под хрупкой корочкой – приторно-сладкое резиновое варенье или коричневатая вязкая нуга с осколками пахучих орехов. Вместо этого я мысленно прибавила три к одиннадцати (четырнадцать человек), и поднялась, и стала ставить чашки на стол; обязательно нужно, чтобы всем нам хватило чашек, неизвестно, когда нам еще представится такая возможность – выпить настоящего крепкого чая, пусть даже без сахара, меда или варенья.

– Я еще сгущенки принес, – смущенно пробасил Вова и стукнул банкой об стол. – И какие-то, не знаю, вафли, что ли.

Они были шоколадные – целиком, до самой сердцевины, до самого неподатливого темного нутра. Я успела съесть две штуки. Две, раскусывая каждую надвое и позволяя ей раствориться во рту, стремительно, жадно, всей внутренней поверхностью щек впитывая сахар, который закончился у нас почти два месяца назад, и только потом подумала о том, что должна остановиться, потому что ни эту ополовиненную пачку чая, ни початую коробку с конфетами наши гости, конечно, с собой не заберут, а это означает, что всё это мы сможем растянуть, отложить и расходовать затем аккуратно, вместо того чтобы

бездумно съесть такое невероятное богатство в один присест; и тогда я взяла обеими руками обжигающе горячую чашку и отвернулась, чтобы не видеть больше этой распахнутой, лежащей на столе коробки, но все равно не смогла заставить себя сделать ни глотка, и какое-то время просто сидела с закрытыми глазами, слушая, как растворяется у меня во рту, исчезает густое и сладкое шоколадное эхо – быстро, слишком быстро. А потом я открыла глаза и сразу же снова натолкнулась на изучающий, внимательный взгляд сидящего напротив меня чужого человека.

– Еще одну, – не спросил, а скорее приказал он, и, не дожидаясь ответа, небрежно пошарил в коробке, и протянул мне изящную шоколадную капсулу, которая в его грубых пальцах с темной каймой вокруг плоских ногтей смотрелась чужеродно и неуместно.

– Анчутка – это же не имя? – сказала я, вместо того чтобы взять ее, и снова удивилась, потому что совершенно не собиралась этого говорить. – Как вас зовут на самом деле?

– Не имя, – согласился он и швырнул конфету назад, в коробку, и протянул мне свою большую ладонь. – Если тебе больше нравится – можешь звать меня Валера. Валера, Бессонов фамилия. Так лучше?

Они просидели у нас до самой темноты. После короткой чайной церемонии человек, назвавшийся Анчуткой, вытащил из глубокого камуфляжного кармана две аккуратных бутылки «Столичной» и щедро, многозначительно водрузил их на стол.

– За знакомство, – сказал он веско, сворачивая пробку у первой бутылки и протягивая ее вперед, к Сережиной чашке, тем же требовательным движением, каким прежде, утром, предлагал свою квадратную ладонь; и никто из нас снова не сумел воспротивиться. Послушно проглотив остатки чая, мы подставили свои кружки, одну за другой, под тягучую прозрачную струйку, льющуюся из горлышка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/yana-vagner/39704-zhivye-lyudi

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить